

ЮРИЙ КАЗАРИН

СТИХОТВОРЕНИЯ

1976–2012

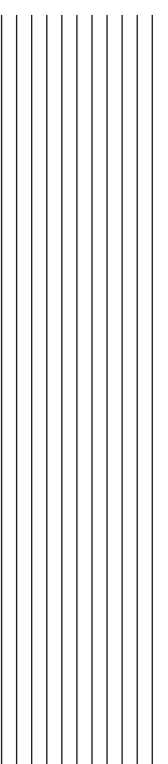
Москва — Екатеринбург

Кабинетный учёный

2013

ББК
К

ПОГОДА (1976–1984)



Казарин Ю. В.

К Стихотворения: 1976–2012 / Ю. Казарин. — Москва ;
Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2103. — 262 с.

ISBN 5-7996-XXXX-X

Книга представляет собой собрание, или большой сборник, стихотворений Юрия Казарина, появившихся на свет в течение 36 лет (ранние стихи в книгу не включены).

Ю. Казарин — поэт, ученый, эссеист, прозаик — автор нескольких книг стихотворений, прозы; монографий и учебников, посвященных комплексу исследованию поэзии и поэтического текста, а также ряда толковых идеографических словарей (в соавторстве). Стихи, эссе и научная проза Ю. Казарина публиковались в России и за рубежом.

Адресовано всем, кто интересуется современной поэзией.

ББК

ISBN 5-7996-XXXX-X

© Казарин Ю. В., 2013
© Кабинетный ученый, 2013

* * *

Почувешь новую погоду,
неслышно выйдешь на крыльцо —
посмотришь в небо — птица с асту
горячим вылетит на лицо.

Шуршит на речке плоскодонка,
под сапогом хрустит щебенка —
охапку дров в холодный дом
несешь, как малого ребенка —
под сатаняющим дождем.

* * *

Заветает снег в окно.
А закрыть не смею.
Было в комнате темно.
Стало посветлее.

Лишь глаза твои черны,
но красно от печки:
от стены и до стены,
от окна до речки.

* * *

Было тихо и тревожно.
Высоко лежал ступоб.
И снежинки осторожно
мне ошупывали лоб.

И собака подошла
и глазами говорила:
— Ты иди, сосед, домой
по дороге ледяной.

* * *

Из хорошей погоды на поезде сад в плохую.
 Выйду прямо под дождь. Хорошо одному. Помолчу.
 Закурю папироску и дым над дорогой раздуваю.
 Как я солнце любил!.. А теперь непогоды хочу.
 Непогоды хочу, непогоды хочу! Непогоды...
 Чтобы скоро гроза, и над речкой темнеет вода,
 как она поднимает свои величавые морды!
 И — трещит голыши салядная ее борода!

Если дечь на дороге, то небо становится ниже.
 Отсыреет рубаха, и так глубоко на душе,
 что нечаянный русский от счастья западает в Париже
 и усавышит, как дождик в сибирском шумит камыше...

* * *

Дождь отрада, дождь отрава.
 В луже корчится окно.
 Заболело сердце справа,
 значит, все же есть оно...

Просто снегу было мало,
 а теперь совсем темно...
 И до самого вокзала
 светит позднее окно.

* * *

От окна холодный воздух.
 Посмотри в окно:
 там зимою блещут звезды,
 как в плохом кино.
 Аворник шастает по круту,
 может, он ослеп?

И девчонка греет руку
 о горячий хлеб.

* * *

Какая белая береза,
 и небо черное над ней.
 По ледяной пустой дорожке
 сухое хлопьяне копыт.

И в баньке круглое окошко
 февральский ветер пососил.
 И пахнет деревом от снега,
 и снег древнее серебра.

* * *

Я вижу воздух. Он пустой
 настолько, что почти пустой:
 трубы чуткого песка,
 и дождь, и сильная река,
 и берега, и лес густой
 настолько, что почти пустой.

* * *

Какой ночает — под музыку ведра!
 Крутом роса от завтрашнего зноя.
 И небо вылетает из костра —
 игрушечное, звездное, ночное...

И спит дитя, а утром был мужик.
 И — девочка с седыми волосами.
 И вольд теченья бегает кулик
 с заплаканными детскими глазами.

* * *

То скрипнет дверь,
то вскрикнет птица,
луна забьется на полу,
заноет детская ключница
по невозможному крылу.

Ночной отец воды напьется,
во сне старуха засмеется,
собака добрая вздохнет,
на окна утро навернется,
и все по-старому пойдает.

* * *

Река задушена деревней.
И от костра горит нутро.
По опрокинутым деревьям
плавет помятое ведро...

Как после буйного апреля —
река чуть дышит от тоски.

Но по утрам, когда с похмелья,
ее псадут рыбаки.

* * *

Полжизни бабушка встречада,
обогревада старый дом.
А стены древо качадо,
сто лет качаясь за окном.

Модинась, старая, окошку,
а в нем заблудший счет белел.
Несла последнюю картошку,
чтоб я вернулся — и поел.

* * *

Припела Вангоша. Снял гуаупчик.
Попил из ковшика воды —
в зубах застрял холодный дучик
поауоттавявшей звезды.

Вангоша лег лицом к порогу,
округло вздрогнула — и уснула.
Как будто вышла на дорогу —
и ветер на глаза подул.

* * *

Дето мелькало. Старуха крапивиу косила,
горстку мозолей сжимая легко в кулаке.
Вздоргнула древо. Древо яблоней было.
Падали яблочки. Лопадь бежала к реке.

Дедушка нежно держа у лица папиросу
и, уябоясь, садувад с рукава муравья:
— Видишь березу?.. Не помню я эту березу.
Только я знаю, что это береза моя.

МОНОЛОГ БАБУШКИ

Запумели, значит, трубы.
Разошлись колокода.
Это — деда дупегубы
повели под шомпода.

У них черные винтовки
и австрийские штывки...

И парнишку у зюловки
пострелили у реки.

А была я молодаа —
и меня под шомпода,
чтобы стада я такая,
чтобы старая была.

* * *

Едем с дедушкой по сено.
Дошадь дышит тяжело.
Ветер. Снегу по колено —
и земле моей тепло.

Вспомнит дедушка о Боге,
тихо скажет: — Замело,
замело мои дорожки —
и земле моей тепло.

* * *

Векор тяжелые мгновенья
по свету белому несет,
как черной птицы оперенье,
что от рожденья не пост...

О чем-то женщина молчала,
чинила старое белье,
глазами птицу провожала,
как будто пела за нее.

* * *

О, лет семнадцати сиянье! —
Русалка в девственной крови...
Предоковеть бы расстоянью
от междометий до любви.

Всему, что есть, сказать: живи,
покуда всё на свете — третий...
А там обратно — от любви...
до междометий.

* * *

Скоро печку затоплю.
Посмотрю в окошко.

Может, я тебя люблю —
как мороз — немножко?..
И зима почти прошла —
не было мороза.

Только пахнет от стола
смертью и березой.

* * *

Мы жили, ты помнишь, мы жили
и в небо глядели до слез.
Горячие люди спешили,
пташки широким мороз.

Машины кричали от боли,
и ныла тоска в тормозах.
И ты говорила о поле,
бескрайнем, как слезы в глазах...

Легко ты меня обнимала,
дышала, как снег из травы.

И дерево шапку срывало
с горячей моей головы.

* * *

Ты помнишь этот город не со мной:
и улиц петушьиные названья,
и лаубину в глазах от узнаванья,
и смутную погоду за спиной,
пока недвижен город и текут —
от туч до голубей и до помоек.
О, как он сух! — но дождь его размост —
от тучных голубей до слезных туч...

И я запомню город не с тобой:
не твой ли сын почти в моем берете
на перепончатом велосипед,
как стрекоза в невероятный зной,
трепещет над бутристой мостовой?..

Все позади — суавьба и лебеда
и старьйй Бог, поминутый не всеу,
когда сойдѣмся тесно, навсегда,
зубами чокаясь при поледуе...

* * *

Солоноватый привкус бытия,
и на кусте качается пилотка.
И в томче густого комарья
играет на водне пустая лодка...

* * *

Тебя никто не обнимает,
и лампа светит на столе,
и тень моя меня бросает
и прижимается к тебе.

И свет высокий однозначен,
и сквозь фонарь летит луна.

И я уже почти прозрачен
И ты уже почти одна.

ПОРТРЕТ

На портрете, забывшая стыд
(эти трепины звали руками), —
темнота вековая стоит
в золоченой всклокоченной раме,
там лица полутопый овал
азиятские тени тасует...

Кто живуно тебя целовал?
Кто такую тебя поледует?..

ВОДОПАД

...треугольник к своей теореме
прилипает навечно...

А. Еремко

Объясню ребенку строгень звериного глаза:
он — сосуд, он объемн, ему не хватает тепла...
Камень в воду упал — развернулась плакучая ваза,
подорожала, свернулась водою и в воду ушла...

Не хватает стекла, а хрусталик, увь — не хрустален,
он — живой и поэтому видит туман хрустали..
Водопад на излете, как дом — под обстрелом, развален,
потому что его в подбородок целует земля...

Объясню ребенку... Меня объясняет ребенок
и поет теорему на самый счастливыи мотив...
Водопад убежал от речных бесноватых воронок,
высоту и паденье в себе, как Любовь, совместив...

* * *

На картине — привычное дело —
и со всех нарисован сторон —
разодет в обнаженное тело
молодой и пустой Аполлон.

До бесмертья дошел в укоризне.
И теперь на картине страшной:
иногда забываешь о жизни,
иногда вспоминаешь о ней.

* * *

Хорошо поговорить, поразговаривать
в одиночку, в самой страшной темноте,
и на кухне чай чернявенький заваривать
на кипящей, на серебряной воде.

Обжигаться, усмехаться, выпроваживать
все, что в памяти кипует, но — умрет.
У окошка еле светлого похаживать,
слушать, что водичка наплет...

* * *

Песни петь, доверяться разлуке,
забывать, забывайся, любовь.
Если воздух измаялся звуком,
значит, песни впитается в кровь.

Этот воздух натянут тревожно,
нестершим, как прямые глаза,
и блески, потому что безбоянно
застеклила его створка.

* * *

Как мало мне губами
распробовать дано:
и пироги с грибами,
и с вишенок вино,
и солнце золотое,
и черный пистолет,
и зеркало пустое,
когда дыханы нет.

* * *

А. Субботин

Как выгляда снег, так пишется о снеге.
Так часто о любимом человеке
не говорят, как говорят о снеге.

А за окном такая благодать,
что страшно слово лишнее сказать:
мальчишки увязают, и собаки
не могут пухлый двор перебежать.

И строки эти вязнут на бумаге.
И страшно слово лишнее сказать.

ПЕКТО И ТЕПЛО (1984–1987)

* * *

На ветер засмотрюсь, на сад, бегущий скопом,
где осень в листопад отлаживает дом.
В эпоху между печалом и потопом
мы хорошо, душа моя, живем

С утра скрипит от инея фрамуга —
и дышит чернозем, подножный лед круша.
А ровно в полдень к нам погода с юга
придет — и уныбается душа.

И дочь моя легко поет и торько плачет.
И мать моя несет развешивать белье.
И в пять минут меня любовь переиначит
на времена безмерные ее.

Теперь не уступлю ни печку, ни потолку
моей души рабочий монастырь,
мой азиатский дом с воротами в Европу
и огорода с простором на Сибирь.

Я прижмусь к тебе — и земля побелела,
потому что я скоро отсюда уйду.
И на кадабише глина моя занемела,
и для саженьев ямы готовы в саду.

Я уйду, и друтому расскажет вдова,
как я не отгличил паоскодонку от троба...

А в Сибири росли даровые Арова,
и гладыга в Сибирь гдубубя Европа.
И сороку трепал перебор поговорок,
и потели грибы в моховую кошму.

Над рекой от росы зачесался приторок,
и поэтому я пробежаа по нему.

* * *

Потянешься к столу и в темноте кромешной
наткнешься на тепло неАремаюшней тоски:

ты — ангела мой и зверь, караюшпий и нежнвий,
привставший выше ночи на носки.

Язык твой волосат — и крепче смертной Арожки
пройдешься от ладони до плеча.

Я знало — кровью всей — тебя, с монгольской рожей,
неведомото преака-снохаचा.

До заморозков дождь столуется на воде
и, от любви последней чуть живой,
швыряет пузыри в гуляшсе застолье,
как разоренный князь и половой.

Но я тебя люблю — и за твое здоровье
из форточкн гаотну рыдаюшней воды.
Всегда я был сиден твоей сибирской кровью —
во все эпохи счастья и бедаы.

Ты ближе подойдешь, и отплатнется лето,
и я с тобой протряжнее спую,
от памяти — до памяти, до света
тревожа родословнучо мою.

* * *

Припозднилились с картошкой — дожди виноваты.
С безаорожья сошел семипестный мазут.
Догемна старики, наваясь на лопаты,
в черноземное море с поклоном плаьвут.

И старухи в платках за садовой оградой,
в перехожий туман напустив синевы,
теплой спичкой в горсти, как вечерней лампадой,
вызывают огонь из убитой ботвы.

Мама в дом принесла запак дыма и хлеба —
встрепенулся в каадовке коворый паук.
И в гусиные крылья ударило небо —
вот и ангелы все потгнулись на гол.

* * *

В этом доме была вчера покойник.

Окна — настекь. Комнаты пусты.

Сидет воробей на подокоонник.

Деаушка посмолрит с высоты.

Бабушка развесила бсальшико.

Парится картошка в чулунке.

Спит в саду зареванный маьчикшка
с яблоком наакушпенным в руке.

Видит он: на каадабише копанот,

старикки загладывагот в сад.
Салпшком высоко они летают —
маьчикки туда не долетят.

* * *

Приедешь из города — хлеб привезешь.
Картошку почистит на ужин поселок.
Гудяет по радио хор комсомолок.
И окна бросает в стеклянную дрожь.

Но вечером ты от любви не умирешь,
а смену беды пронесешь отородом,
где сивый Урад припадает к воротам
и ветхий парник на автобус похож.

Ты, голая, выйдешь из бани на снег —
и ночь нагоняется ветром и взглядом,
когда, как совсем молодой человек,
морозец огладит тебя снегопадом.

А утром, когда повторяют кино,
ты прямо на юг разведешь занавески.
До моря опить далеко и темно:
дорога, забор и шлагбаум в черкесске.

* * *

Далеко поют. На перевозе.
Шороху дают средь бела дни.
Что-то о судьбе и о морозе —
Дескать, не морозили б меня...

С берега на берег на пароме —
и не страшно в осень заглядывать:
в октябрье, как окна в новом доме,
лес и поле настужь распахнуть.

По погоде быстро расстелются.
Прошлый берег топчется вдали.
До другого — годы пронесутся,
не коснувшись неба и земли.

От парома пашут до улада
берега, чернеющие врозь.
Между нами небо снегопада.
Все равно — до смерти не морозь!

Жди меня на этом перевозе
на исходе осени и дня...
А пока послушай о морозе —
он уже добрался до меня.

* * *

Мой лес не умер потому,
что было страшно одному.
Вернулся я, и утром мы
вошли на ближние холмы.
Я ничего не говорил,
чтоб не запякаться — закурил.
А он на корточках сидел
и белый хлеб с газеты ел.
Покупал, выдохнул — живи!
И руки вытер о траву.

АРАВИЙСКОЕ МОРЕ

«Земле подойдет чужеземное имя Наталша» —
Стою, умирая от жажды, и так говорю.
В надретых кокосах от зноя шипит простокваша.
Шипит сигарета, когда, задыхаясь, курю.

Давно зеленет крутом незнакомое море,
и мутные волны сюда без оглядки бегут.
Трехпальмовый бриг израстает на вечном просторе,
и мачты над пристанью белой, качаясь, растут.

Из воздуха явно рождается слово «пустынно» —
от жажды утромье пружинки молча поют.
Арабскую шхуну по-русски зовут Катерина.
Так маму мою на высоком Ураде зовут.

Меняно арабский песок на уральскую глинку.
Последнее солнце в мою ударяется груду.

Наташа, прощу, отпусти от себя Катерину.
И ты, Катерина, Наташу свою не забудь.

* * *

Я придумам давольною дорогу,
где вокзал, как водится, в конце.
Холод, как положено ожогу,
выдает кожу на лице.

Птицы там на юг не улетают —
греют их всевышние огни.
Там друзья мои не умирают,
потому что вечные они.

ПЕВЧАЯ ЖЕНЩИНА

Ночью не холодно. Просто темно.
Есть сигареты. Светает в четыре.
В небе моем, в незнакомой квартире,
певчая женщина мост окно.

Скоро уже прояснится оно —
так по ладони гадает пытанка.
А у окна городская изнанка:
небо, завод, стадион и кино.

Новая песенка спета давно,
дамша настольная тени тасует.
Так высоко и поет, и танцует —
вечная женщина мост окно.

Скоро до неба протрется оно —
вот почему и светает в четыре.
В небе моем, в незнакомой квартире,
певчая женщина мост окно.

* * *

У ласточки две родины. Она
из дома в дом всерез передетает.
На родине смертельный снег растает
и родина за морем не видна.

Поет диктует праведная кровь,
и родина от родины — далече,
и не напрасно оперилась плечи,
и все на свете — года и любовь.

И есть для глины с окнами речными
строительная сладкая слюна.
Две родины, и море между ними,
две родины — и ласточка. Она.

СВИДАННИЕ

Была весна: хорошая погода
на рукаве у пещеро народа.

И по асфальту прыгал за спиной
печальный звон на ножке асфальной.

У магазинна «Русская природа»
я ждал тебя — как вся каталь — у входа.

Молчал и задыхался надо мной
на белой нитке шарик надувной...

На белой нитке шарик надувной.

* * *

Я здесь любил, когда земля качалась.
Посмотришь в небо — та же синевя.
Где молодая лошадь поваялась,
там долго пахнет лошадью трава.

Да повторится этот день невечный,
когда горох зеленый сахарист
и пахнет виноградом огуречный
ворсистый и почти клееновый лист.

И косогор в золотоносных дырах.
И перебор пространства на полях.

Картошка, как положено, в мундирках.
Собака, как положено, в рельях.

* * *

Ночью проснусь и заплачу.
Садко, легко и тепло
лето прошло наудачу.
Может быть, счастье прошло.

Все перед снегом светлеет,
ширится, сморгит в окно.
Бабушка спит и бодрит,
ей тяжело и темно.

Вытащу из-под подушки,
чтобы от слез не промок,
царский, как шкурка лягушки,
красный клееновый листок.
Знают ли твердые реки
детский зимующий страх:
как засыпают навеки,
как засыпают в слезах?

* * *

У деревьев мерзнут дети и собаки.
Прямо с холода — молчит родная речь.
Я мальчишка, и березовые араки
мне показывают бабучкина печь.

Ах, мороз и в садком себе дым бродячий!
Я остался жив, но кожу с губ сорвал:

за полениницей топор, такой горячий,
я — закрыв глаза, поцеловал.

Ах, зима, у наших женщин мерзнут ноги,
и мороз слеза возницу бьет под дых!
На укатанной фарфоровой дороге
стонет свадьба на полозьях золотых.

Я сорвусь и на крыльцо стою «Марусяку»:
с кем гуляла ты? — и садом разбегусь —
и с сосулькой перестелю вибрикуску
сквозняка небесного напьюсь.

У КОСТРА

На опушке леса, у предела,
по голимой кромке бытия,
на морозе первом околенда —
стада глинобитной коленды.

Посижку у пролванного в потемках,
приласкао спичками Арова.
Где-то далеко поют негромко,
так что закружилаь голова.

Прослезится ветка, зарыдаст,
разойдется синим сквозняком.
Дым холодный звезды выдает
у костра под черным копкаком.

Заморозков медная кислота —
на губах. И мертвое не спит:
в землю человечество ложится,
и земля о жизни говорит.

И поет всю ночь родное что-то
из осенних яростных пустот.
То горячим хлебом, то бодотом
за спиной дышит — и поет.

До небесной адовой зевоты
золотое пламя заглохло.
Ты поешь, а я не знаю, кто ты,
потому что я тебя люблю.

* * *

До свиданья навсегда.
На щеке твоей вода.

Постояли и простились —
как на осень помолвились.
Лес подумать не успея:
разошлись — и опустел...

Ты идешь домой как пьяный
ветер вывернул карманы.
Кто по ягодам пойдет —
три копейки найдает.

* * *

Не помню, кто ты. Почему
без глаз твоих — так много взгляда.
Вот-вот опомнюсь и пойму, —
а жизнь прошла, и жить не надо.

Поверх мотилы оглянусь —
и никого... Мороз по коже.
Спиною к дереву прижмусь —
как жизнь — случайный и прохожий.

Как жизнь. Спросите у нее,
какой простор сквозит за нею,
кто по ночам в окно мое
глядит все дольше и страшнее.

КОВШ

Сегодня смерти не боюсь
и не болит душа.
Воды колодезной напьюсь
из черного ковшика.

Вплотьмах, у солнца на краю,
под чистым сентябрем
я песню думаю твоею
на языке моем.

И ты за тридевять земель
почуешь, не дыша,
как забирает ясный хмель —
из одного ковшика.

До ночи нам хватило дня.
И время — по судьбе.
Усыпипишь, может быть, меня
и вспомнишь о себе.

Тебе — с запахом кузнца,
с усталку — по душе
живую воду пить с лица,
арожащего в ковше.

ДВА ЗЕРКАЛА

В холодном коридоре двух зеркал
чужда ругать — просторы были живы,
но я смотрел и губже проникка
в обледенелый поезд перспективы.

Смотрел до слез — а жизни было мало.
И вечность напирала с двух сторон
и ледяное крошево савигода —
без пороха — в колодезный вагон.

И я узнал в казенном коридоре,
меж двух зеркал качаясь на земле,

что время разверзается, как море,
во множественном яростном числе.

Что взгляда в себя страшнее фотоснимка
и намертво соплась на этот раз
два зеркала — лицом к лицу, в обнимку
с намерзшим мирозданьем напоказ...

Что в два окна одна рябина лезет
и в зеркала смотреть — напрасный труд:
оно — платочком черным занавесят,
другое — белым фартуком протрут.

ЗАМОРОЗКИ

Там, где к телу пробирался любовник,
в трыдаках круша золотую слюду, —
в десять рядов перекроет крыжовник
зону запретную в голом саду.

С кем ты была напоследок, погода,
кто тебе ночью в подмышку дыштал?
Видишь, земля опустела у входа
в тысячаестьный семейный скандал.

Мерзлой травы звероватая шерстка
ноги натрет — и от саез не поймешь,
как в темноте открывается фортка
теплым нутром в окаянную арожь.

Спи, говорю. Ты всю ночь уаыбаалась
Ревность мою обдожилаи поля.
Будто погода во сне прободохлаась —
и от аюбви победела земля...

* * *

М. Навициной

На тесной кухне с газовой плитой
мы хорошо о жизни говорили.
И мы, бывало, время торопили
под лампочкой бесстыдано-золотой.

Пока декабрь и в горле горячо —
особенно с утра, когда по-детски
хозяйка поглядит через плечо,
отмахивая с неба занавески.

И вваливалось снежное окно,
под стаять не шатуну, а мужичине,
такому до апреля все равно —
что в пиджаке, что в чертовой овчине.

Когда от счастья зыбка и светло
и ест глаза тропинка ваюль забора
за сладкое пайковое тепло
свободного, как воздух, разговора.

Когда смеется самый молодой,
веселый и голодный спозаранку,
целуя в лоб горячую буханку
на тесной кухне с газовой плитой.

* * *

Лопаты стариков — скрипучие, как весла.
Уключина горячая в горсти.

Такой мороз, что тень в дорогу вымерзла,
а сверху снег — и с места не сойти.

Опять я вбит в декабрь по самую макушку,
но повторю у солнца на краю:
теперь не уступлю зиме ни на понюшку
с моей гусиной кожей тень мою!..

Пойду с воротника срызвать шадьную льдинку,

ВЫДЫХАТЬ И ВЫДЫХАТЬ, КАК ПЕЧЬ, КРЕЩЕНСКИЙ ЗВОН.
 ОТКАПЫВАТЬ ЗАВЕТНУЮ ТРОПИНКУ,
 ЧТОБ ДО КРЫЛЬЦА ДООБРАСЯ ПОЧТАВЬОН.

* * *

Внесла дубинное белье —
 на улице похолодало.
 А холоду все-таки мало —
 на вечное время мое.

Тоска раскидала тряпье —
 до смерти меня пеловала.
 А как мне любви не хватало
 на грешное время мое.

С вокзала кричит воронье —
 по крику дойдем до вокзала.
 На горе платок завязала —
 кончается время мое.

* * *

Стало в доме тесно и темно,
 будто с небом вырвали окно.
 Помнится, на стуле у лежанки —
 куст полыни в подлитровой банке...

Стеден хлеб, скрипит сосновый пол,
 а хозяйки к ночи не пришед.

Все равно спасибо за ночавет —
 поклонилась дому человек, —
 за полынный воздух, за сад.
 Вот окно вернется — и пойду...

На расвете в августе недолгом
 пахнет пыль на стеклах серым волком.

ЛОСЬ

Холод ласковый выкручивал запыстья.
 Криком воротник посеребряю.
 Заморозки, заросли, ненастье —
 страсти по большому ноябрю.

В кровь чужое солнце куряком затерто —
 с хрустом кружево пернатое рвалось:
 из чащобы выворачивалась морда.
 Лось.

Выдохом мохнатым — мягче полушавка —
 спеленад под корень зыбкую сосну.
 От такого зверя перелеску жарко —
 прямо в пекло веточку залпу.

Тронется теченья, аронет жидкой жгучей,
 только — вся в ожогах чебака —
 обмирает речка, упираюсь в кручи,
 горяча смурного лося-мужика.

Косогор — в ледовом рубинше колодца.
 Крепче сердца в берег врубаены слезы.
 Ах, как холодное брюхо содрогнется
 над текучей пропастью бедаы.

Голубые ноздри вывернет водица.
 На глаза налипнут небо и откос.

Далеко за лесом льбитися волчица —
 и целует запахи вясос.

И волчата кажут рубчатые пасти,
 чуя с водопоп столбовую кровь...

Вызверится к ночи ясное ненастье,
 и попросит смерти вечная любовь

БРАЖНИК

Пора уснуть, а прошлое — в заглавник.
 Но, завернувшись в бурку, тяжело
 ночной шатун, не бабочка, а бражник —
 с одышкой бьется в пыльное стекло.

Такому брюху — окна не помеха:
 нахрап мужеской. А свечка на полу.
 Издалека на свет выходит эхо
 и шарит дикой шерстью по стеклу.

Ты знаешь, какво маячить втуне,
 овчиной отираясь у отрада,
 за наш простор любви, повтор июни
 и молодости. Ночью. Невпопада.

За нас, живых, пока еще любимых,
 за боль лозы — впотьмах — до сентябрю:
 как широко ее разносит вымах
 пиналошето в корень чихиря.

Тяжелый бражник домылся в окошко —
 в баранью пыль, в турецкую кошму.

Так заветал пображничать Ерощка —
 и молодой подмигивал ему.

АПРЕЛЬ

А. Сидельникову

Пойдем во все глаза смотреться в мостовую,
 где солнце на плаву вздувает годыши.
 Сегодня мы живем, как свет, напропадуно,
 пока хватает света и души.

Проходит жизнь. Прошла. Вернулась в наказанье
 за песню, за труды, за будущее, чтоб
 успеть тебя увидеть на прощанье
 и пригласить в апреле на потоп.

Усыпать на бегу всем сердцем вдох и выдох,
 пока открыт трамвай — пустой — не для меня
 и водит голубей, сиреневых и сытых,
 как радио, боьшая воркотня.

И дворник на метле, парадясь, смеется:
 он мальчигом бывал — и хороша метла.
 И время скоро летом назовется
 по произволу света и тепла.

Давно арожит снегирь, он весь сплошное горло,
 и город смотрит в лес, и долгая капель
 пускает с высоты серебряные сверла
 в дырявую под окнами купель.

РАКУШКА

Как в душу детский плач — по мокрую макушку,
 как в женщину или в пучину — вгляда,—
 морской широкый шум вмещается в ракушку
 и рвет ее, как розу — аромат.

Из множества любви, из разницы подобий
 ты море черное опять
 руками разведешь, когда бессильны — обе —
 чужую женщину обнять.

И этот человек — наездами — владелец
 июни и любви и берега взброс,
 песком и солью в лажных подотенец
 к земле растоптанной прирос.

Желтеет на глазах слежавшаяся книжка,
 пелует в очи солнечный удар.
 На груду красных раковин любуется мальчишка,
 как на горшки свои — гончар.

На розовую пасть распахнутой спирали,
 на кость и плоть прилива — до краев.
 Какие волны так измордовали
 узилнице ударов и шумов?

Не за гаубкой в аоx — за вольную поношкy,
переполох волны и кожаную арожь —
в бетонных городах тяжёлую ракулшкy,
зажмуриваясь, к сердцу поднесешь.

* * *

Комаров из волос выйрали,
и таранила звезданую твердь
на дощатом сквозном сеновале
золотая коньковая жердь...

Мотыльков новогодние халпья
отведу занемвшею рукой —
и фонарик дорогу прихлопнет
свежеструтанной желтой доской.

Мой июнь до сих пор не унялся
так я долго до дому бреду:
будто в небе твоём потерялся,
озирясь в полночном саду.

Высоко — комарами ученый —
пропадаю один, налетке.

И платано над пропастью черной
по сияющей зыбкой доске.

ПЕЧАТЬ (1987–1990)

* * *

И. Б.

Не божий промысел — подачка,
и ожиданья Страшный суд,
Посадка. Поезда раскачка.
Безде казенное несут.
А был в буфетах желтый чай,
и — голчя на свет баранья.
Но оглушило — до свиданья,
и еле слышится — прощай.

И Данте празднует отъезд,
и светофоры гуще сада.
И на вокзале Книга Даа
в один читается присест.

* * *

Я ночью пил вино — и медленно светало.
Гуляло голышом по комнатам окно.
И возвращался двор барачного квартала:
заборы и кусты, а дерево одно.

Ты знаешь наперед, что будет день хороший:
с тобой и без тебя — назад дороги нет.
И все пройдет, как ночь и как мороз по коже.
И форточка в сердцах захопнется на свет.

Ты вечным хочешь быть, а кто тебя научит? —
Раздука и анобвь из палоти и тегла.
И в чуткий пах цветка, мохнатый и пахучий,
впивается горячая печала.

* * *

Кажет пшмель золотые подмышки
и бросается под сапоги:
над поляной, без ана и покрывки,
до сих пор остаются крути.

Сколько в воздухе дыр и отметин —
можно в небо смотреть поутру.
Я у мамы красив и бесмертен,
если раньше ее не умру.

Норовистый, как свет и погода,
я иду, спотыкаясь, на свет.
И тебя дожидаться у входа
в этой жизни, где выхода нет.

* * *

От северной реки да от тоски просторной
произошла твоя заветная душа.
Уходит на восток поселок подзаборный,
пшбаёт летний зной, собаками дышпа.

Здесь вольно проживать деревьям и прохожим
и ласточка скользит по лезвию ножа.
И всем своим — в тебя — ретейником пригожим
вцепился оторода, стрекозами дрожа.

Ты примешь полный ковш от жизни придорожной,
и птица прошумит над самой головой.
И сердце оборвет глоток воды вельможной
И зеркалом махнет колодец столбовой.

* * *

Тебя не будет никогда.
И, отраженный волчьим глазом,
не темный лес, а темный разум —
заводит в воду невода.

Темнеет. Это навсегда.
Глаза стребали простор в охапку.
И чайка с Бога сбива папку —
так высоко в реке вода.

Ты никогда не повториться.
В ночном тумане растворишься —
и мама, вечная ваова,
молчит, как в небе синева.

* * *

Я сниму городское пальто
перед лесом, у самого входа.
В сентябре потеплеенье. За что
привалила такая погода?

Загуляла судьба. У нее
мордобой — от любви до поминок...
И заброшу в пшповник ружье.
И надену холодный ботиннок.

* * *

Накопили колодецы осеннего сада,
и ведро колокольцем спигает ко ану.
Это боль против сердца меня приаскада
и пшвртнууд алицом к прободанному окну.

Там кино и любовь, и пробежка прохожих,
и глухой репродуктор на ветер орет.
И толкает на север детей краснокожих
серых уток посасданий — на гол — перелет.

Я зажмурюсь — и гора у нас не бывало.
Только память для богом забытых людей
ледяным молотком в мостовую вбивала
кирпичи голубые сибирских дождей.

Опустели в казенных домах коридоры,
как колодцы, к которым идут на поклон.
И — обратно, и — степью на синие горы,
где восток — с четырёх окаянных сторон.

СОН В ДЕКАБРЕ

М. А. Булгакову

Сон в декабре обгоняет похмелье.
В Киеве плачет во сне офицер.
Русского времени крепкое зелье —
галтку стрижет золотой водомер.

В Киеве воинству — тесная сава.
Рано — и женщины ругать не с руки.
Жовто-блакитная прыгает лава —
конь из метелицы рвет кушаки.

Мальчик упал — и тропиною безродной
русское время нисходит на нет.
Прямо из дырки, от пули заветной,
выползла божья коровка на свет.

Поле авиит пулеметом двуклодка.
Доуго из гора в серебряный мрак
танет во сне убиенный Николака
по-над сугробами красный кушак.

Чистая правда под серой шинелью
выйдет еще из сибирских пещер...
Горько за русское наше похмелье
в Киеве плачет во сне офицер.

ПОМИНКИ

Пора любить — у дивня перекур.
Всплывают фонари. А было жарко.
Пыганская замкнет электросварка
ночных небес воинственный прищур.

Пора кричать в зареванную ночь:
беспамитство на гром дрожит и дрыхнет.
И воду в ступе молнией толочь,
пока она от холода не вспыхнет.

В трамвай вошла каадабищенская медь.
Соддат летит на шахматном моторе.
Он так хотел от счастья умереть
в казенном коммунальном коридоре.

Смахну с лица прозы посмертный дым:
я бы отцом, любовником и братом.

Душа живет, как прежде, анем девятым
и прозревает анем сороковым.

КЛЮКВА

Октябрь голубой. И в лесу — без помехи,
как в жизни голодной, веселой, чужой,
снегирь привелел полудчать на орехи —
с малиновой грудьно и красной душой.

И клюква бросается в голые скуды,
как будто кузнечик замерз на лету.
И слышно, как насмерть смурные воуды
с пожизненной белкой ипрант в латгу.

Беда как в своем октябре опрометчив —
мороз прожигает носок сагота,
и, псалы подлесок собой искалечив,
очнувшийся дось обретает рога.

Всю калоку побил убиенный кузнечик —
и снег беспризорный прижася к бедру.
И я за октябрь в октябре не ответчик,
пока от последней любви не умру.

СВЕЧА

Я в дверь войду, как в зеркало. Оттуда —
не женщина, не яблоко, не чудо,
а ртутью перемазанный сквозняк
спустился на свет серебряных собак.
Еще не смерть, а светлая простуда.
Не заступ, а даюнь вперед, покуда
не хлопнет дверь и не сожмется мрак,
как Божий в Божьем зеркале кулак.

ЗАМИБ

Где крымские горы толкают в бока,
из двух берегов ускользает река.
Срезает осока заливу висок,
и наголо бритый восходит восток.
И пахнет прозреньем зеленой волной,
и топчется море, как смерть, за спиной.
Где волны не в ногу бегут на восток
и дышат, как в зеркало, в голый висок:
волнуются, бьются наперегонки
и уятыся страсти у пресной реки.

СОЛОМЕННЫЙ ВОЛК

В снегу тяжелеет соломенный волк —
сноп лунных лучей пропшумит невесомо,
мелькнет чистогола в полях кривогола —
и в толстых стогах шевельнулась солома.

Он может собою деревню поджечь —
и волка берёт с потрохами на мушкету.
В такой тишине зарождается речь,
когда убивается кто-то в подушечку.

Любовь обьявилась — все женщины спят.
И брезжит, как правда, в садах престарелых
мороженых яблонов церковный фасад
под колокол катанок обледенелых.

Я в самый январь за соломой иду:
нам холодно нынче — сойдет на растопку.
Ты яблоком ловишь чужую звезду,
целуя его в деревянную попку,

Пока в рукопашной худеют дрова,
от печки твой дом, словно нёбо, атласный...

Соломенный волк рассыпается, красный.
Соломенная засыпает вдова.

Осеннего, летнего, зимнего сада
в чулунной ограде живая промеда
за плечи обнимет у самых ворот
и в дебри свои в декабре заведет.

И, вздрогнув, за космосом белым Канада,
почувяв сибирский глухой гололода,
в озайбшие ноги летонько толкнет.

ТРАМВАЙНЫЙ ПАРК

А. Ереминко

Парки трамвайные не для ходьбы.
Титыку с небес не берут скороходы.
В окопцондные вешние воды —
в завтрашний дождь — улираются абы
Я не мастак. Но в гуаьбе — водолаз.
Бог — не пожарный, а ливень и мастер.
И светофор, как всевышний фломастер,
красным зрачком окунается в газ.
Я понимаю, что я не утас,
просто, ваоль парка сколазья, угляываю.
Карето газа кровавый окрас
передается пустому трамваю.
Господи, ты умирал на краю,
где — перевески, канавы и свадки.
Я, как трамвай, через бездану твою
перелечу на пеньковой скакалке.

* * *

Приближается время творца —
пожилого мужчини.
Две морщины с живого лица
провели по дорогам машины.
И натеьных листочков возня,
и весна из детей и озноба...
Наконец-то согрелось до проба —
и погода не бросит меня.
Это отгепель — до Коьмы,
пробежав по етапу акаций,
от заплевчной сумы да торорьмы
научила меня зарекачься.
Бевай сад саовно банный дворец,
где теплиц гоубье обьмаьки...

А вокрут закипает скворец
с холодом на затылке...

* * *

Куда мне с пожизненным сроком
в кадапные вапши ряды.
Зимой удаются сорокам
натеьные — в крестик — следы.
Не слышала умная птица
про сытый чужой материк.
Подайте мне с воли напиться
и горло прочистить на крик.
Востанет столбом из коьлаца,
мерцаь, пенное ведро.
Живая душа отзовется
на взгляда в леьное нуьтро.
Спешь в беьый свет, как в копейку,
и страшно на свет открьывать
то окна в коую линейку,
то в каетку, как небо, тетрадь.

ПЕРЕДНОМ

Слать, капель. Не будет краю
перестуку. Слать пора.
Это я в шелчки играно
по наьичникам вчера.
Подсмотрю в капель, как в шелку:
третси ангеьов тоьла.
Аьобит пуговками шелкать
водосточная труба.
Видишь, ангеа с буьлкой хлеба
поспешает наугаь? —
Скоро дети краем неба
на работу полетят.

* * *

По крошке льда. По льду. По водам и по крошке
 червонных городов с трамваями во льду
 во времена зимы — и все-таки в сторонке —
 за летом и теплом — у леса в поводе
 войду в нагольный снег — и все на свете поле.
 И высекает лед кремнистая вода.
 Сбывается судьба, знакома до боли.
 Так позано — не хочу. Уж лучше никогда.
 Уж лучше никогда. А за любовь не позано
 без света и любви зимою умереть.
 И — в холод с головой, как в колокол морозный,
 где на губах кислит кадабийпенская медь.
 Я выживу, душа. У Рождества на крошке
 спасает ремесло с мучительным трудом.
 Придавлена река, но волыные воронки,
 как дерево и взрыв, проходят подо льдом.

* * *

Еще ты жив и одинок
 в век между волком и собакой.
 Где трехкопеечной бумагой
 оклеен черный городок.
 И в темноту фонарь забрит.
 Пришур ночей развея брусчатку.
 Как бы звезда упала в кадку —
 и до сих пор в глазах рябит.
 И звонко тусклых луж лобзанье
 во льдах с голубеным кирпичом.
 И смерть с веселыми глазами
 за левым топчется плечом.

* * *

Трудно молчать по ночам водостоку:
 дождь золотой прибывает во мне.
 Сердце в груди повернулось к востоку —
 авинудось к левой, большой стороне.

Так начинается черное лето —
 синей листвы рыболовная дрожь,
 где, задыхаясь от голого света,
 белуго женщины в утро несесть.

Там — на слуху — неженатые птицы,
 не просыпаясь, заплачут вавоём...
 Белое — жаром осушит ресницы,
 черное — к сердцу катнет окоем.

* * *

Откроется земля, впадет в лето;
 и врежет на восток узкоколейный нож.
 И вздрогнешь, и поймешь за полночь до рассвета,
 как мало, но всегда ты мальчиком живешь.
 Озбытий, весь в глазах июньского разлива.
 И теплятся во тьме родные кирпичи.
 И проступает степь настырней негатива —
 без города и труб за кадабийшем в ночи.
 И, чубом уцепясь за ветрок пропалций,
 ты ходишь налетке под страшной высотой.
 И чухешь, как молчит уже снапой, но зряций —
 не камень, не цветок, а суслик золотой.

БАБУШКА

Ночью степь платается без платья,
 и окрест расходятся — внажим —
 мельницы напрасные обьяты
 с воздухом, прохожим и болышим.

Одежонка саабая согрела:
 вся под ветром — шире камыша.
 Но проточной кожей дышит тело —
 чтоб светилась женщина-душа.

Убегают груди из рубахи:
 там, где втиснут — на ладонь — загар.

По спине горячей, как на плахе,
выпивает крестиком комар.

Вот откуда дети у крестьянки.
Луковича шепчет на печи.
И летают ледовы портянки —
белые, как ангелы в ночи.

* * *

Воскресенье. Выпал снег.
По следам, чернее боми,
видно, как в трамвайном поле
забудился человек.

Ляжет первый — лежебок —
малосольный, подулетный.
Не растаял бы... Дай Бог,
чтоб, как рюмка, не посекдний.

Сыплет вкось, исподтишка —
ангел, снежная шекотка.
И у девочки бородака
не растаяла пока.

* * *

У дасточек весной узкоколейки —
особенно в пролетах городских,
когда фабричный ангел в капавейке
во все глаза качается от них.

Меди на русской мельнице, емеля:
в который раз до рвоты тяжело
переживать в чужом пиру похмелье,
где по усам ни капли не текло.

В саду фабричный ангел съел конфету
и липкий лист оправил в серёбро.
За кем опять таскается по свету
твое — с прекрасной мякотью — ребро?

Когда болит — тебе не надо хлеба,
ты снег хватал в Авроринском декабре —
и до сих пор пути возносишь в небо
благотной кепарь на мельничном ребре.

В чужом застолье, взглядом унесенный,
легко даруешь Музам свету,
ворочая в зрачках стакан траненный
с голубоглазой вошкой на свету.

* * *

Ю. Казикову

Я чувствовал, когда на мушку
меня, стреноженного, брали.
И — аноминиевую кружку
срывал с петочкой на вокзале.

Кончались водка. Поезд вышел,
солдат по тамбурам качал.
Я даже выстрела не слышал
за колокольчиками чая.

Как после сечи, лес валился —
в лицо — от скорости — навстречу.
А мой вагон остановился —
и семафор плеснула на плечи.

Когда ты мертва, ты больше значить
в глухой российской типине,
где наяву ты горько плачешь
и улыбаешься во сне.

* * *

Красный ястреб, жизнь у нас одна.
Даже до космоса и Бога
в небе между морем и дорогой —
свышно, что железная она.

Режешь ты крути свои сплеча.
Знаю я твою повадку птичью:
долго ты ванобляешься в добычу,
вместе с тенью волны волооча.

Поезд пропшумит, тебе мешая...
Знаешь, ястреб, жизнь у нас боольшая:
скоро станешь морем и травой,
красный ястреб с белой головой.

ПОСЛЕ ПОТОПА (1991–1994)

ТРАМВАЙ

Л. и В. Бабенко

Трамвай — аетдом, кроватный ряд,
где дышат в белое с любовью.
Пока ты зыбнешь — в изголовье
светло. И женщины не спят.

Трамваи в яблочках летят,
и в решето кроватных спинок
встрезают каадыблице и рынок,
и соловецкй снегопад...

Толпа — большое баюство,
и в обмороженном трамвае —
сарай, начинка меховая
и холода, и Рождество.

И поручень — под обьака —
как Богово рукопожатье.
Рывок. Случайное объятье.
И малосольная щека.

И в нежной темени, без глаз,
дыша декабрьским океянством,
ты между веком и пространством,
как ветер в городе, увяз.

Когда мороз — пророк и по заправкам странник
и жаждой Рождества расплюсцены уста,
в чеканное окно вработан подстаканник —
окрути испитой граненые места.

* * *

От прошлых голубей — вообразимый шорох,
и строем ходит ночь за ангелом огня.
Плюется серебро, и в петушиных шпорах —
то скрипка, то снежок — живая визготня.

Когда в глазах фольга с церковными краями
и ноздри жжет сибирская оса,
ты плачешь до тента. Ты плачешь муравьями,
как топором любимые аеса.

Любовь и алкоголь — подвздошные громады.
За выдохом идешь по кромке горючка —
и кажется, что видишь до Канады —
на лаубину тоски и каблука.

ЯБЛОКО

О. Михайловой

Садам хорошо — всем забором столетним —
столкнуть по колено тебя в колесо
и яблоком, красивым и самым послесадним,
ударить в затылок асроту твою.
Где табором яблоки валят в ухабы
с веселой, убитой любовью листвой.
Родные вороны — базарные бабы,
как ангелы, уголь метут над тобой.
Кому-то была — то судьба, то пыганка,
и яблоком счастье было во рту...
Такая на яблоке садовая ранка,
когда в щелевке прикусишь губу.

* * *

Прохлада между строк —
валгалмше зевоты.
Какой вселился бог
в голимые пустоты?

Загадка и урок —
не истина, не точка,
а вечно между строк
глухая одиночка.

Кончается мой срок
судьбы короткокрылой,
где — с пятки на носок —
лопаты над могилкой.

За баловство европ
века не спать Эзопу.
И между строк Эзоп
показывает.....

* * *

В том месте, где душа
донашивает тено,
ни хлеба, ни проща,
ни Бога, ни предела.

Вся кость пошла на крест —
крестец апрельской плоти,
и высятся окрест
дожди в мужской работе.

Не ливень, а нахрап —
по яблочку в колодец.
На свете столько баб
с глазами богородниц.

Отнимешь от земли
такую росомашу —
и тихо до петли
на сердце рвешь рубаху.

* * *

Ночью шлепал босыми ногами.
На восток улетало окно.
Где по городу-году крутами
умирающих водит вино.

Точит очи зимы рукоделье,
саадкой ревности, арожки, обид.
В проваханье любви и похмелья
мотыльками я перенабит.

И лечу, в черноту упираюсь,
и стою в переулке глухом —
и, как ангел в слезах, утираюсь
задевшим из жизни стихом.

КРАСНАЯ ГЛИНА

По холодам я ближе к Богу,
как легкий мальчик на осле.
Лес, облетая понемногу,
стоит в единственном числе.

Я синову на юг спровадил —
и слышно с левой стороны:
нехорошо зашелся дятел
под сердцем высохшей сосны.

Здесь все утрата и обнова:
и снег пошел не с той ноги,
и лепит глина Иванова
без постаментов сапоги.

И вот, почти по пояс красный,
я убываю налетке,
как этот первый снег напрасный,
как эта глина в кулаке.

* * *

Е. Кашиневу

Я шел домой со скоростью рассвета,
так начиналось лето. Между тем
врапалась на восток планета,
ревел коров медлительный тарем.

А в небе разговаривала дочь —
и за душой не постывало тело:
так близорук пасмурная ночь,
так дверь на всю Россию проскрипела...

Пока в окно смотрела сигарета,
летала дочь и плакала во сне.
Летала дочь как ангел до рассвета
лицом к стене.

* * *

М. Чурьяковой

Пасмурный день. Средиземная скука.
На подоконнике птички значки.
Смотришь на мир, как в слезах, близорукко,
будто с окошка сорвали очки.

Будто бы в шубах дерев очертанья.
Холод в июне берет на испуг.
И на вокзале орда чемоводанья
кровельный поезд толкает на юг.

Светом полна саепота человекья.
Белый ягненок бодает кошму.
Знаешь, у всех задоминио предплечье
в греческом русском татарском Крыму.

Крым набекрень. Там кремнистые страны.
Там, напоровшись на катер, туман
вывернул к черту бараньи карманы
и показал мировой океан.

* * *

Ю.

Спад бы — в небе появлялся:
задыхался и смеялся —
и, с Сибирью на спине,
до утра летал во сне.

Хорошо, кому не спится:
можно тихо, как в бодянице,
словно ангеа на лету,
кукарекнуть в темноту.

Ночью плачется и прется
из соленого колодца.
Ночью колет под ребро
петушиное перо.

* * *

Бесстыдница оса, как бодро и как сладко
раздавинуты цветы по самое тепло.
Тонкучего дуча втемяпилась закладка
в чашобу — на июнь, такое-то число.

Где бабочка с утра — капустница, чухонка.
И холодно. И лось пошел не с той ноги.
И сахарной росы живая самогонка
заставила сиять мужские сапоги.

За лесом все кусты — повядка человечья,
и чудится анобовь по самое тепло,
где крепкое село вложилось в междуречье —
и судорогой держовь в небо вознесло.

Где все проидет, как лес — по памяти, по слухам.
И каадиште махнет в тяжелье поля.
Но сказано земле лежать над нами пухом —
и лесом изойдет пуховая земля.

* * *

Где томака пространство локоть,
ямка в воздухе была.
Я любил любить и трогать,
дорываясь до тепла.

До такого дармового —
с одеялом под венед.
Где берет за глотку слово,
без которого — конед.

Где с душой иррает в жмурки
столобовой любовный стыд...

Где сухарик штукатурки
возле чайника лежит.

* * *

Зачем ты светишься в углу,
где паутина как объятье?..
Пласт штукатурки на полу
разбит в домашнее распытье.

Безрешной жизни сладок стыд.
Окно тесней окна в вагоне.
Осколок зеркала сквозит
холодной дыркой на ладони.

Смергельной жизни сладок труд.
Дожди двужильные ослабди.
Какого ангеда найдут
последние, боадыше капиди?..

Кто нынче снова человек,
в углу затеявший свеченье...
Темнеет дом. Мутнеет век.
Кончается стихотворенье.

СТИХОТВОРЕНИЕ

Брату

За азбучный, ангельский грех
раздает Бог под орех.

Двуглавый за рамой Авойною —
подловилъ закят сединою.

Увидишь снежинку одну,
упавшую камнем ко дну.

И—к брату, как в небо, без денег,
вздетаешь на девять ступенек.

Вот так и живешь налетке
с морозцем в последней строке.

ГАНТИМАИ

П. Суляженко

Потной плоти прилипчивый воск
и кавказских ночей солонина.

Ноет прозабь винограда, как мозг,
не вместившийся в череп кувшина.

После лампочки — зелень в глазах:
смуглый шарик, дневной — законный,
он в глазах закаленных пазух
пропечатан двуглавой иконою.

Там цеауот, не види ни эли,
и, бедея в античной истоме,
поедают орехов мозги
на бетонном бойном водономе.

* * *

М. Ч. и В. Б.

Спи на Рождественском луку
крестом безруким, как во гробе.
Я больше выдасть не могу
Сибирь, уютную в сугробе.

На песни с Богом — ни гулу
в краю, где Бог тебя не слышит,
а жизнь и любится, и дышит
теплее женщины в снегу.

ГОН

Е. Зайкину

От собаки пахнет дымом,
служей, тронувшей живот,
зимней Прещей и Крымом,
если к скифам занесет.

Плачет в небе волчья стая,
где сверло, свиваясь в вой,
понукает, высветляя
решето над головою.

Поморозило до крика,
до пробежки припекло.
И заробная брусника
с воакой просится в тепло.

В вышнем поле волчья гонка,
кобелиный гололед.
Метит хипная зеленка
в небесах заблудший скот.

Млечный путь под теаоупрейкой
за чужой барачный стыд,
как припеда ружья с конейкой,
ветер с воем совместит.

* * *

М. Нислиной

Зима не больше смерти.
Такие холода,
что стада тверже тверди
прохожая вода.

Здесь небо голубое —
с Сибирию до него.
Но теплится тобою
родное Рождество.

И слышно из трамвая —
из Храма-на-Бегу,
как жидка голубая
работает в снегу.

* * *

В поде, закухшем порой перепоя, —
будто с балкой в колокольном ведре,
темя лобзает сверло голубое:

пастают звезды — дыра на дыре.

Дома подсунут казенную койку,
снегом скривши, под лопатки твои.

Вспомнишь Америку — тронешь настройку:
воздухом Божьим поют соловьи.

Аспидный свет воссияет зимою.

Речка голор припаяет ко льду.

В проруби синие ноги обмою —
чистое поде крича перейду.

* * *

Старше Греции наши морозы.
Дышит в уши чужая свирель.
Убивают античные козы
каменистую Божью постель.

Рано плаоть покрывается пыльюю,
проживая в большем далеке.
Где Россия, схластнувшись с Сибирью,
держит душу мою в кулаке.

* * *

Это жажда, влекущая вниз,
и дыханье поларно и хором,
где сирени персидский сервиз
вымерзает жемчужным фарфором

Долго небо к душе приближалось
и тинуло вином за язык
Ты, закурившись, к морю прикалась —
значит, море сегодня мужик.

Помолчу, убывая к востоку,
где, на свет загодя глаза,
опустидась на губы пророку
голубая, как смерть, стрекоза.

ШМЕЛЬ

1.

Я на руке несу шмеля —
о полосатая земля.

Скажите Богу и шмелю,
как я в июне жить люблю.

Как я одну ее любил —
и убиваясь, и шмелил,

на рукаве неся шмеля,
как горы носят Шамилля.

* * *

Памяти Э. В. Кузнецовой

Поезд каруселью раскрутил поля,
потому что ласковая земля.
Потому что кто-то под землей в пробу
закусил соленую губу.
Потому что Гоголь ходит между строк,
как поля и ветер — вдоль дорог.

* * *

Люблю, когда первые капли
пройдутся, как реакии грабли,
по пыли, тепле лица,
добавив асфальту свинца.

Летчает сезонная птица,
и, как отраженья с моста,
за ливнем на землю ложится
прекрасных небес чернота.

* * *

Ваголь сугробов каравайных,
сумрак вкось окоротив,
стекло стекается — трамвайных —
первобытный негатив.

Где железзо — недотрога
и в дыханье — докот саез,
проступают лики Бога,
как заплаты без берез.

Для кого ты грешьь руку,
замерзаеть для кого?

Едешь, бедная, по кручу,
объезжая Рождество.

Нас чуждой звездой касанье
поминает не скорбь.
Высоко — и расстоянье
как от смерти до тебя.

* * *

Ночью ночь светлеет в феврале,
потому что ужин на столе.
Потому что темень из окна
головокружительней вина.
Мама, обжигаясь, понемножку
раздевает ротную картошку.
Ходит нож, ища у хлеба кровь,
обоголоострый, как анобовь.

* * *

Молодой мороз. Олушка
леса с голяым холуном.
Озерка пивная кружка
перевёрнута вверх аном.

И черна, и безволоса —
земляло лапает земля,
сдадко выткнув колдеса
яперицами в поля.

Поздней осени прохожий —
убегаеть из-под крыш.
В ноябре с гусиной кожей
до озноба доветишь.

Где в родном походеданье
выжимает русский крик

из тяжелого дыханыя
серебро на воротник.

* * *

Спасибо, море. За душою
то горсть песка в окно чужое,
то горсть дождя в окно мое —
на малосольное тряпье.

Не отболело Питипорье.
Твердь обрывается — приморье.
И кружат с клекотом кресты,
и время выше высоты.

За перевалом все — отныне:
и на стекле скрипиций лоб,
и горсть песка в твоей пустыне,
и жажда русская в потоп.

БЕССОННИЦА

За жизнью — провал. Воскресенье.
И очи — до слез — не сомкнешь,
когда в потолочном паденье
возносишь недвижную Арожь.

Бессонница глужже любви:
шерсть на задривке траву,
ведет — в сновиденьях по брови —
свиданье с душой наяву.

И, как плаоскодонка босяя,
вдлывая во тьму из-под крышл,
всем телом в саезах зависая,
ты в зимнее небо летипшь.

Где в трещинах страшно двоятся
пустившая камень рука.

И скоплены весла в ресницы —
в стоячую прорубь зрачка.

* * *

По щекам, по дощечкам — морозец пенком,
где ползком, где вприпрыжку, коды посолком,
где кузнечником — вкось — по газетной траве:
только ножниц колесный сквозняк в голове.

Каблучок твой вколочен его обупком
в окаинные салакие глиины.
Где прибы задохнулись — и осень с душком,
и картошка — последняя — бита менком
о широкие теплые спины.

* * *

В. Вайнко

Все — отраженье, тень, язык
еще до звука — окаинный.
Где болел смертью мой авойник,
родной и безымянный.

Любно лицо твое в упор,
бровей в полете перепутье —
такой у зеркала простор
между стеклом и ртутью.

Такая в памяти трава —
объятье, ветер, увяданье, —
что лижет звезды с рукава
озыблнее сознанье.

Что крепче трещины — узор
с кирпичным кровообращеньем
как просветленье, как зазор
между саезой и зреньем.

Запропадут в оврагах, в балках
пестля развоенной концы,
где льжник весь — в жаре и в паках,
и тычет чаше, чем слепцы.

В зиме избыточность пробега
и безвоздушная возня.
В таком тепле душа и тело —
несовместимая родня.

Я мальчик. Ночь. Я пахну глиной.
Мне мало женщин — из ребра.
Окошко с корчей топовиной
страшней небесного нутра.

Перебеда через дорогу
меня, нездешнего, туда,
где все наотмашь внемлет Богу
и забывает, как вода.

* * *

Дж.

За листьями — листья,
как за душою — тело.
Скупее волеобъёма
сезонные пробега.

Проворнее дождя
бегут на свет из мрака
собака и дитя,
особенно — собака.

* * *

Белый антел, зверь небесный,
к ночи в окнах горячо.
Твой снежок — мекопоместный:
так — обочина, плаечо.

Встряхивая, как в пекарне,
сада павловский парик,
ваидолом дышат парни,
греют голосом кадык.

Хорошо спешить по двое
в пепельные тепло,
наделя на шестое
незаткшее крыло.

Запелованное теми
холодит вторая твердь,
где воздеывают время
воскресение и смерть.

УЛИТКА

Л.

Почти с небес — с глазного дна —
трава крадет у яблонь дытки.
Где — под луною холодна —
улитка вся язык. Она
пространство садское в улитке.

У светляка задробный вид.
В саду полночный обцепит
и мотылька мохнатый мячик.
Пространство съеденное спит,
свернувшись намертво в кадык.

В пикаде — посох и зима,
смотринны мрачного ума.
И по ночам не спится Богу.
Пока бинтуется сама
улитки в алаячая чадма
и наклоняется к востоку.

* * *

Плотов небесных притяженье
смахнет пропадающая плота,
где все — вода, и отраженье
как умножение на два.

Где стрекоза треща авоиттса,
Арожит и рвется без конца.
Где мне лицом своим умыться —
последней припоршней лица.

* * *

Л. Вайнко

Сибирь прилипла к сапогу,
и я подумать не могу,
где и с какого краю
я по ночам летаю.

Но, как во сне, глаза открыв,
я вижу поле и обрыв,
где путают ресницы
то слезы, то синицы.

Я за дождем, во всю длину
в чужое небо загляну,
не делая ни шагу
к проклятому оврагу.

А хорошо на высоте
болтать ногами в пустоте,
как ангелы болтают,
когда они летают.

* * *

Авюородный, сродный,
родимый молчок.
Где водопроводный
серчает сверчок.

Небес голодуха.
Шуршит карандаш.
Взвасется в ухо
девятый этаж.

Скачок худосочный
короче судьбы.
Сверчок водосточный
в пустыне трубы.

С какого востока —
глазами во тьму —
легко, одиноко
поется ему.

* * *

Божье око — окоем,
где идешь один вавоем,
убывая поневоле
то ли в небо, то ли в поле.

Сладко падает на груда
супротивное вращенье.
Вот и кровообращенье
повторяет выпиний путь.

И разавоенное зренье
под ресницы не вернуть.

За окошком скрип арбуза —
 снегопады, пешеход.
 По ночам на очи Муза
 по копеечке какает.

* * *

Не окно, так отраженье
 скулы ангелу светло:
 немота обмороженья,
 покаблучное сверло.

Отчего же пахнет сливой,
 почерневшей добеда...
 под окном ступоб червивый —
 это оттепель была.

Это вечность, это мука
 с февралем зауголкой,
 где хорошая разлука
 лучше встречи никакой.

* * *

Садяко земаю бьет скотинна.
 Раскачалю ролцу стадо.
 Это осень, пильотина
 листопада.

Я и сам дышу все вышше,
 потемнев в оконной раме.
 Ходят яблочки по крышке
 с топорами, с топорами.

Самолетик мимо сада
 тинет в небо дуповину —
 от березового стада,
 с сосняком наполовину

* * *

Кузнечик. Лесопилка.
 Пахучий холод хлеба.
 Луна ловчей обмылка
 выпрыпывает в небо.

Авоитси сигарета
 в полудночной неволе.
 У зрения край света —
 обидда, темень, полде.

И спичку задуваеть,
 и под ногами грязь.
 А все не улетаеть,
 окном перекрестясь.

* * *

А. Сидельникову

На губах черноморская соль,
 а пятнистые плечи — дья Бота:
 высоко байзоружка боль —
 золотое обьятье ожога.

Скоро лето, а грекам — зима,
 полнобоявное русское лето,
 где гуляют вадоль моря дома
 и кричат, как маяк, без ответа.

Мне такого хватает тепла,
 этой первопрестогольной любви.
 Где летает за мною стреда —
 и целует в печальныя брови.

* * *

4. *Житкову*

С востока савиндулась душа
на рубчик царского проща —
вот-вот покатытся по полю
на продуваемую волю.

Где в небе горда как подвал,
где я с твоей душой бывал,
худую осень коротая:
она, как Пушкин, золотая.

Где вся листва у тополяей —
как сотня пролитых рублей.

* * *

Моль, расстрепанная пшубка,
снег — кормежка, снег — голубка:
пропадает в недождет,
саовно сам себя каноег.

Вот и я бегу по кругу
и держу на сердце руку,
саовно плачу и пою,
потония бошь свою.

* * *

4.

Раскинулась шкура медвежья,
как заиндевала она.

Не пересолить поберекья —
такая боольшая страна.

И Вожьето ока обьятье
мерцает мертвецки вадли:

такое боольшое распятть
заснеженной навзничть земли.

Как после сырой сигаретки,
горчит прободаная весна.

Потрогаешь птицу на ветке —
и не улетает она.

* * *

Сколько спичечка горела,
столько в яркой типшине —
без души — сплошное тело
убивалось на стене.

Саовно Богова ресничка
саадко павьды обожгла.
Спичка, маленькая спичка,
до чего ты тяжела.

ТЕНЬ

Опять смеркается в углу —
как бы скедет ночного света
ресничей вытнут в иглу
и прозябает без скедета.

Укол небесный, даохода
земного кровообращенья,
где нам никто не подает
ни смертных мук, ни воскрененья.

Где два стакана на столе —
еще до смерти, ненароком,
хотя душа уже в числе
единственном и одиноком.

* * *

Во мне побывали Париж и Москва,
но пахнет Сибирью моя голова,
как пахнет трава у порога
ногами прохожего Бога.

ПЯТАЯ КНИГА (1991–1996)

* * *

Памяти И. Давыдовского

Пространство многогожий —
воздушный бурелом
душе чернорабочей
с лопатой и крылом.

Строфа укромней проба,
когда — без дураков —
прозранье смотрит в оба
орами пятаков.

И царствует сомнение,
и празднуют слова
охоту к перемене
значенья и родства.

* * *

В небе каплет козье маeko.
Раеет город-табакур.
Вот и полночь. Полночь века.
Русской немощи прищур.

В доме осень и темно,
и дымяком от сигаретки
в погодак уткнулись ветки.
И — в саду горит окно.

В час полночный, поминальный
крестогрудой рамы Арожь
с двух сторон — рукой печальной
до рассвета не уймешь.

* * *

Как две свечи — надбровья
 смержаются во лбу.
 Текут зимы низовья
 в февральскую тьму.

А в поле Пушкин мнится,
 где сочиняет снег
 да жмурится волчица —
 хороний человек.

* * *

М. Чуриковой

Где сосны бежали без шапки —
 остались гусиные лапки.

Где сосны, как гуси, ходили —
 снежок выглавает в мотиле.

На каабылце бауного сына —
 как до сотворения — глина.

Есть красная глина у сосен —
 белой запованных десен.

* * *

А. Бабенко

У рыбы круглые саеда,
 как будто Бог идет по водам
 и осеняет небосводом
 собранье утренней воды.

Где пивы зыбкое вязанье
 низводит в нитку — наутек —
 выотекущее касанье,
 скользженье лодки с локоток.

Пространство юное — без кожи,
 в саезах, у солнца на краю,
 где все — из голоса и дрожи,
 как полагается в раю.

* * *

А. Сидельникову

Прозрение. Собачий
 ходячий холодок —
 а этот свет горячий
 не знает на зубок.

Когда перед рассветом
 запахнет высотой
 и столбик сигаретам
 поставишь золотой

за тополиный порох
 с немереной слюной,
 за петушиный потрох
 и грохот жестяной,

за ветренное зренья
 и сумрак голубой,
 где вечное спасенье
 не знает с тобой.

* * *

Ах, эта скрипка по морозу
 под пережожим каблуком:
 как бы стихи, встревая в прозу,
 живым теплом разжари розу,
 чтоб не стояла кулаком.

* * *

1.

Сухая штопка губ —
 весенняя простуда.
 Сосудок тронный сруб
 растет из ниоткуда.

Остуда. Ветродуи.
 Сезонная подмота:
 облатка, поцеауй
 простуженного Бога.

С последним льдом тепла —
 и солоно, и сладко —
 на белый свет легла
 дамова заплата.

* * *

Оконных занавесок
 стоит бѣлье ночное —
 как в поле передесок
 с огнями за спиной.

Пока гуляет плаатье,
 серебряное тренье —
 кончается объятье
 и переходит в зреньѣ.

* * *

Чужого зеркала бросок —
 не света ножницы и спицы,
 не ветер с пятки на носок,
 а золотистый волосок
 проснувшейся отроковицы,
 скрипит под нею половилы,

и окна смотрят на восток,
 и на подъятый локоток
 садятся птицы...

* * *

В. Вабенко

Тоска без рода и числа —
 деревня, аура, поддень, лето.
 И позолоту сигарета
 легко на пальцы нанесла.

Жары отрыжка нафталином.
 Любвиный клин не выбит клином,
 и в сердце красное сверло.

И белым пухом тополиным
 сугроб в стакане намею.

* * *

Снег полежит на спине —
 черный в своей белизне.
 Так умиратот во сне.
 Так умиратот во сне.

Снег — неподвижная дрожь,
 словно себе подаешь
 левому оку — на прощ,
 правому оку — на прощ.

Белая эта беда —
 так пролежать до Суды:
 сладкая будет вода,
 страшная будет вода.

* * *

Стрекоза на седьмом этаже,
 словно капля дождя на ноже,
 словно чеховское — в стороне —
 выше смерти порхает пенсне
 тридцатое лето подряд.

И глаза от России болят.

* * *

А. Ватрикосу

У зимы слишком бейвой платок:
 он раскинут — и это Восток.

* * *

Ночь. Отсутствие света.
 Так в кармане держат фику.
 Книгу смерти, как ковригу,
 я в потемках разломил.

Показался корешок:
 ночь, тряпичная подкадка.

Почитать на посошок —
 слишком торько, слишком сладко.

* * *

Сыну

Сон не в сон. Сноровка
 хорошо не спать.
 Божия коровка,
 скоро — улетать.

Колется ресница,
 обломилась твердь.
 Как легко не спится —
 может, это смерть.

Слышу — полукровка,
 звону через край:
 красная коровка,
 жестяной трамвай.

Поздней ночью рано
 можно из стены
 выжать полстакана
 каменной луны.

* * *

Озвбли Божьи ноги,
 и мается поныне
 душа в подожженной глине,
 а глина на дороге.
 А глина на дороге —
 и тянет прямиком
 туда, откуда боги
 приходят босяком.

* * *

Как на глазах ладонь —
 наотмашь свет небесный,
 и Божий взор отвесный,
 и Господа огонь.

И с места — не сойти.

И ясная синичка
 работает, как спичка,
 у дерева в горсти.

* * *

Л. Бабенко

Я писарь твой, Господь,
я поводырь глагола.
Суха моя шепотъ
в эпоху недосода.

Крестка на польный крест
и чистое писанье,
пока у задешних мест
не звук — а Расстояние.

Не взгляда — а Мечный мост,
горизонталь монгола,
где пиаре суших звезда
спряжение глагола.

* * *

М. Никулиной

А что за пробом? — аети и долги,
да стоптанные в беге сапоги,
да в Суаный понеделельник — Воскресенье.
Где снова — ночь встает не с той ноги,
и шепчется: прости и помоги
в последнее уйти стихотворенье.

* * *

Какое головокруженье —
апрель по брови.
Девостороннее движенье
любви и крови.

Тоска и музыка — скользясь
плакучей тверди.
Одностороннее движенье
любви и смерти.

* * *

Работай, косеножка,
древесный паучок,
закапывай в окошко
зарывшийся зрачок.

Там дали расстарались,
там выбито стекло,
а трепины остались —
и потому тепло.

Такая паутинка
округу обнесла —
как нервая морщинка
с молочного чеда.

Как лучик на ладошке
да сеточка в горсти,
где даже косеножке
по кругу не пройти.

* * *

Мозоль мороза. Голова
произношения нежит нёбо —
так перетянут речью рот
в сухом узилище озноба.
Где типина и звон собак,
шепотка соли на кулак
со щек в Рождественском тумане.
Да льдинка стойкая в стакане,
как в слове ПУШКИНЪ твердый знак.

* * *

И умрешь, и очнешься —
а башка в серебре.
Снегопадом качнешься
на последнем Аворе.

* * *

Тренья пространства и крови. Зрачка
карий закат в оком роговицы.
Саух без конца переводит в ресницы
десятеричную Аробь кабдучка.

Тренья пространства и времени. Соль
после обьить — на горде — крест-накрест:
дактиль — а в зеркале кровник-аналест —
недоборшиа зауадарную боль.

Крепко четьрежады охололни
троищей гласных поакожное тренья
крови, пространства и времени — зренья,
область, где не различимы они.

* * *

Это хруст кабдука, вывих твердого знака:
подморозит — и в гипсе худает трона.
Так звучит пустота, и посадеанего мака
оглушительвно трутси — толпой — череца.

Подутодос. Озноб. Размноженье согласных —
шепелявость и свист, говоренья ползком.
Словно змеи и птицы — в согтиях красных —
мучят соль альведо не твоим языком.

Это слышет зрачком неродившийся опий —
черной маковой — всада даьнозоркой игле.
И, промерзнув до дна, дужи крепче надробий
прижиманот себя к уходящей земле.

Это хвойных лесов столярное Аворянство.
 Это холода храм с петушиным коньком.
 Где высокому звуку не хватит пространства,
 если время и смысл совпадут целиком.

* * *

У сосны озвонит лапка,
 и прохожего пригнет
 ворох воздуха, охалка
 оглушительных пустот.

Сердце ходкое — левша,
 тридевятый молодоточек,—
 чужьшь, вольная душа
 отгадётся между строчек:
 между самых тихих двух
 настоуживает слух.

* * *

В полночном поле одиноко
 с буханкой теневой на груди,
 соринкой влип в чужое око —
 и непогода впереди.

И налетает ветер с неба —
 зрячка всевышнего волчок —
 потрогать у ржаного хлеба
 непропеченный рогличок.

* * *

О, как ты крепко спал,
 как шебень между пшта —
 слабее умиратот
 и на трубе ипратот,
 когда ползает вокзал.

Когда из-под колес
 раздуку и мороз
 изобразяет муха,
 впадалопца в ухо
 с пучком седых волос.

* * *

П. Сульженико

Прошай, прошай, абхазский виноград —
 монтажник полуطني и огра.
 Прошай, творец объятий, пововдьярь
 в чужой — с чужим уставом — монастырь.

Прошай, учитель голововокруженья,
 когда дробится косточка в резьбе.
 Прошай, в тебе родное отраженье
 с губами — трубочкой к тебе.

Ты выдохом сухую пробку выбьешь,
 чтоб напроцалтаться про запас,
 покуда сам себя со мной не выпьешь...

Прошай, моей земле не хватит глаз
 следить тебя, кувшинный верхолаз.

ГОГОЛЬ

Не розовым мелком
 по кабакам и шкодам,
 а серым мелком —
 сиротским, поролковым
 на тридевятиом, на
 высоком этаже,
 на скорлупе окна
 проступит Фаберже.

У давка, завиток,
 вообразимый локон,
 оправленный в желток,
 в сухую смитку окон.

Дружинка и овал,
резьба зрачка и небеса.
Никола надышла
сюда просвет из гроба.

Из гроба в гроб, в гробу —
протаминку, лазейку..

За капельку во лбу
величиной с копейку.

* * *

А. К.

Не улица, а стальные вагоны
навыворот. И снег... И благодать —
меданских ваз хрустальные рулоны
на окнах — в две ладоны — раскатать.

Очей очарованье и мученье,
когда зрачок тоскует по бэльму
и движется земли ичезновенье
навстречу появлению своему

* * *

М. Никулиной

Мужских очей объятье
с тобой — в тоске квадрата:
минутное распахнуть,
прикус чужого взгляда.

Не проиграть в молчанку
тебя с тобой в обнимку —
внушачуто пречанку —
косому фотоснимку.

На фоне парового
в Тагиде отопленьея,
где только ты и слово
в порыве говоренья.

Где вечно повторого —
зима, разлука — время.
Когда цеауют слово
и в родничок, и в темя —

озяблутю парину
но весь обратный путь
в рогожу роговицы
пытаясь завернуть.

* * *

Чую, шепотом звон, так ресницы растут —
это лужовицы противают мешки.
Это ангелом пушенные — там и тут —
земляных пятяков золотые снежки.

Если тьму проморгнуть — золотится труха,
золотая шекочет мозги шедуха,
тесной крови по кругу шумит самогон
с четырех окоаьлованных оком сторон.

У бессонницы — ночь, у бессонницы — я,
география чашки разбитой, края
и зазубрины берега, где океан
умещается весь в неразбитый стакан.

* * *

...когдавая земля...

А. Пилипов

Еще капель. Не капельница. День
мне умирать. И очи не ослабли.
Корооче памяти, остриженные каплли
кончаются — и обретают тень.

Как платье через голову — капель.
Да головою к северу постель —
последняя постель ногами к югу,
пока они стоят лицом друг к другу.

Пока горбатит снежные поля
рабочая костлявая земля.

* * *

Словно паши пушпайкянов —
переход сосульки в кашлю:
так из ножен тянут саблю,
щеки бритые надув.

Словно в гласные — согласных
зимних звуков переход:
лопаты однообразных
волосков, набивших рот.

Чужен свет исчезновенья,
удушенья без пестли
и озноба дунувенье
вадоль измученной земли.

Потому что смерть растенью
помогает пить вино,
по всему тоскуя тенью,
как родимое питно.

* * *

Е. Заикину

Бродяга с бабочкой во рту
(какая ночь — она живая)
изображает немому
битком набитого трамвая.

В пространстве съеденных зубов,
где небо выше небосвода,
признанье первых слов —
и ослепленье, и свобода.

Свобода — выдох, а не вдох,
в дому двойной переполох —
осипшей бабочки смягченье,
когда всему дарует Бог
земную муку говоренья.

* * *

1. К.

За протокой поворот,
речки — с вывихом — преддлечье.
с Божьим словом человецье
никогда не совпадает.

И по берегу крутому
в небе яблочки стоят:
придлательное к дому
существительное сад.

Коли зрение пророка
безязыко. И тайком
разве что облизнет око
ангел горьким языком.

НА МОТИВ ИОСИФА ВРОДСКОГО

П. Сувлякинко

Бесело в лобовое вставил рога олень —
камышек прилетел, может быть, из Китая.
Стояб разавигает ноги, откинув тень,
видимость никудашная, золотая.

Выпили по-над пропастью, а стакан
ты положи в карман, поговоруку выдай.
Воздух с утра оттопырен, что твой карман:
сто пятьдесят — и поэтому неэвклидов.

Это выплывает кавказская карусель
в лобную пазуху, где понимают двос:
камышек попадает, конечно, в пель,
если олень упирается в лобовое.

Зренье в горах, обмирая, лежит ладном,
времи как тень от пространства отброшено светом,
будто любовники заночевали вадетом,
чтобы — уже задыхаясь — проснуться крестом.

В легких, набитых небом, такой простор,
 что до пута европейскую рвань рубаху.
 Речка дурит наотмашь и как топор
 ходит на топоре, потерявшем плаху.

Выставившь лобовое стекло — вздохнув.
 Трещиной зашлемив острее ресницы.
 Дабы в падении не расплющить клянов
 птице.

* * *

Словно камешек в кармане —
 под ресницей городок.
 Это поезд на стоп-кране
 ловит воздуха глоток.

В чистом поле останювка,
 где простор и благодать
 да сибирская сноровка
 от тоски не умирать.

* * *

Пиджачок упал со стула.
 Спичка, словно стрекоза,
 распахнулась и задула
 воспаленные глаза.

В темноте не умиряют
 и не делятся на два.
 Только сердце разрывают
 рифмой битые слова.

За последнее словечко
 всто себя слизнула свечка
 до столешницы с сучком.
 До печатного колечка
 из-под кружки с молоком.

* * *

В невозможной тишине,
 прошибая кровью,
 долий дождь шумит во мне,
 стлакиваясь с кровью.

Вечно я плашмя лежу —
 никакой огыне.
 Это только по плечу
 воздуху и гваине.

В муравейнике что-то шуршит,
 я сосновой иглолкой припиит
 к уходящему лету без нитки,
 чтоб не вырваться с первой попытки
 в убывающей перелюх,
 где — уже чужеземная — птица
 забывает, как воздух и Бог,
 напоследок в реке отразиться.

Ты спишь на животе, как небо над тобой,
 торопится земля и спит тебе навстречу.
 Как будто ты летишь из бездны голубой
 над бездной голубой, набитой сном и речью.
 Ты говоришь во сне, где говорят с тобой
 родные мертвецы, знакомые младенцы,
 где липнет стрекоза к веревке белевой.
 К веревке белой примерзло полотене.
 Ты спишь лицом к себе, как птица на лету
 над зеркалом воды, натянутым печально,
 где крепко и легко такую высоту —
 как жешину, к себе — кдадут горизонтально.

* * *

В немереной стране
ты к бездне привыкаешь.
Ты говоришь во сне,
когда во сне летаешь.

Ты небо перечесть —
и на сеньмой станице
отдашь земную Арожь
и ангелу, и птице.

Походака языка —
и память, и забвенье.
Последняя строка —
всему прикосновенье.

И всюду из рванья
погоды и стихии
мерцает полынья
отгавшей России.

* * *

Семь небес, осадок и осада,
плоскостопье крыш и снеготлада,
взгляда окоемные саеда,
зеркала шербагая промада
или бездна — ллоская — воды,—
все, что правит лезвия стреккозам,
упираясь в веко наждаком,
снова сочиняется морозом
и гукает русским языком.

* * *

Золотой доской мороза
мертвый пруд прихлопнут косо —
развезжается настив,
где прямой аршин вопроса
черный лебедь проглотила.

Он стоит — черней перчатки
на снегу, где после схватки
снегу выкусила поэт,
где не сакала опечатки
пестик, ступка, пистолет.

У зимы все гладь да полё,
попынь без аякоголы
и в малине сапоги,
молодая старость, вода,
Божья скорость, страсть и доля
дедать полные крути.

Золотой озноб азарта,
у осины бита карта,
и пора бы наконец
из промерзшей бакенбарды
водяной вытрязть дедедец.

* * *

Не простуда, а выгечка губ —
чужешь хлэбнуго корку озноба.
Завернуться бы в белый туман,
словно в яблоко, в медный раструб —
в самоварную мякоть сугроба.

У хворобы не микшиц, а соль —
словно, аз выгитба в *slaviv*,
отстает от улыбки короста,
это уст золотая мозоль
говоренье, свобоуду и боаь
проверяет узидишем роста.

* * *

Одиноко, неказисто,
резво, медленно, без свиста
снег ноцует в городаке
всюду, как на чердаке.
Фотографии зерниста,
словно кожа у торниста
на раздувшейся пске.

Не зерном, а кукурузой —
не воздушной, а кургузой,
пересохшей, все одно —
хрустадем, фонарной друзой,
слухом, зрением и музой
взгляда со снегом, как в кино,
упирается в окно.

С двух сторон какая сила
супротивно воплотила
столкновение — в стекло.
Все, что было и любило,
музыкой перехватило.
Безым снегом замело.

* * *

Снегопад — продолжение жеста,
торможение глаз и лица,
не пробед, а крошечное место
между глинной и пальцем творца.

Средненёбная лепка и мука,
одоленье зазора — засос
языка и загробного звука —
первой буквы по коже мороз.

И в письме — перемена погоды,
и снежинки летят с утреча
там, где в воздух впечатаны воды —
не по образу зримой природы,
а со скоростью чтенья творца.

* * *

О. Даморову

Воздух морозный шершав,
словно суконный рукав
или пестина Батыя.
Башкет трамвайный вагон —
бляха проталин, погон,
пуговицы золотые.

Хрустнув в газу корешком,
не каблучком — обушком
приголубой мостовую
да отправаляйся пешком
в ясную тьму неживую.

По галунны и канву
запорошило листву.
Но продолжаем оравой,
чтобы не вымидеть ржавой,
или кровавой во рву,
мертво мерцать навву
и оставаться аержавой.

* * *

Снегопад. Сибирь, однако.
Глубоко теперь земля.
Под окном печет собака
каменные кренделя.

Око мерзнет в провороте.
Сохнет скрипка в башмаке.
Хорошо палаша в подлете
палошнить саезы на щеке.

Подоконник лобят дсти —
кубик света с утреца —
потому что нынче сети
упустили мертвеца.
С бакенбардоюдохматой,

с круглой пудай под живот.

Это снег. Его лопатой
только Пупкин приберет.

* * *

Зимою небо — меньше дыма,
оно зажато в обоаке
листка каенового и Крыма,
горбушки Крыма в кудаке.

Дым хорошеет, в самом деле —
в нем опущается зрачок,
как городской фонарь в метели,
ночной метели мозжечок.

Движенья дыма — та же лодка,
вмерзалоштал свысока
в свое скольжение. Походка
и остановка языка.

От моря белого до поля
тепла, теряющего плоть,
где жизни всей — щепотка боли
да ока влажная щепоть.

* * *

1

Колодец исподлобы как труба
подзорная, где сорвана резьба,
где выдишп, как, сомкнувшись, отмерпали
два остря Гесподней вертикали,
и близится, как воздух из метро,
безумных взглядов полное ведро.

2

А дома по жестянкам без стыда
каракудем задомлена вода

и гнутся на червонной сковороде
подлепиков убитые подметки,
и первая свеча, войдя в жиляе,
не узнает зажегшего ее.

3

А за окном стеклянная щепца
на проводах, скворещен черепа,
осенний сад, отдавшийся погрому,
пустое прилагательное к дому,
как будто повелительный глагол
из речи в непогоду перешел.

4

А в поле замерзает имярек,
не ангеа, а мужчина — арвиний грек —
из Крыма в Крым ямбические дады
пересекает по диагонали —
так поспешает скифский астроном
за правдой, за лобовью, за вином.

5

А за рекой — до запада — Сибирь,
где насыстаа четвертого снегирь —
последнего, — дудящего в аорту
поэта, обморозившего морду
от лысины до пегой борода,
набитой крошкой мраморной воды.

6

А за душой, как водится, душа,
реки плита могильная, пропта
на коренных попокиванье, льдина —
или под ней вензеля стремнина —
еще кропит последний кислорода
моржу моржовому в озвобщенный Карский рот.

7

А из Сибири смотрится на юг
так хорошо, как будто он — вокрут,
где дом и сад, и свадьба азиатов,
где воскресеньем и собраньем взглядов
кодаец вырыт в небо, в землю врыт
и кое-как лицом твоим накрыт.

* * *

Пахнет красным желтый донник,
если саово пить до дна.
Если поле — подоконник,
подоконник без окна.

Дождик, дождик, ящик тесный,
отвори в последний раз
без ножа разрез небесный
противоположных глаз.

* * *

Зеркала осколок
к фортке поднесу —
первых звезда посенок
дышит на весу.

Свет находит тело —
слабое жиляе.

Вот и запотело
зеркальце мое.

* * *

М. Нисутинной

В замерзшее окопечко, в бельмо
вдываешь неродившееся слово —
округлых уст любовное письмо,
протгалинку из века золотого.

Так дышат — перезибуя, напярмик —
еще до языка и слов не зная.
Отдушинка, протгалинка сквозная —
зрачка и крови родинка, тушик.

И кровообращенья первый путь —
попытка не латынью и санскритом,
а попросту — убитым и забытым
с той стороны безмолвно заглануть.

* * *

Веточек, может быть, сто —
только б со счету не сбиться —
строишь костер, как пнездо
строит на дереве птица.

Чтобы перо и зола
выпекли новую глину,
птица тебе подада
прямо с небес хворостину...

* * *

Пасмурно. В небе какая-то степь,
саовно глоташешь петровскую цепь —
ржавые красные звенья.
Так вышускает растенье
вечная глина, на месте своем
перемогая в себе оком
по мановению зренья.

* * *

Брызнуло с неба, как с венника,
на шпирину муравейника
да на отмашку ворот,
то есть на выход и вход.

Не на исход — на мучение
имени, сухуха, значения,
дабы язык не просох —
то есть на выдох и вдох.

* * *

У белки под мышкой тепло,
когда она в позе моленья
ломает о птицу сверло
растущего в ужасе зренья.

Заглазные, дружно стоят
в открышемся воздухе слезы,
и, встретившись, взгляды звенят —
такие сегодня морозы.

Избыла земная семья.
До дырочки съедена ложка.
От вечности общей мой
на север отброшена стержка.

Налево, где сердце растет
в угольях любви и страдания.
Где медленно снег придает
всему, что прошло, очертанья...

* * *

В саду гулит ведро,
и до глазного дна
роится серебром
ковода и окна,
в расквачку авет ливня

с глаубокой высоты,
где ширится стойми
веретено воды.

Я задержу глоток,
как ссадиной струнчу,
накинув на роток
оглохшую странчу.

По вывиху-лущу
в окрестное лицо
я очи заклоучу,
как птичью пьсть в кодьно.

Сечением струны
останется в окне
мой взгляд со стороны,
вернувшийся ко мне.

* * *

С утра сосудек улей,
а в поддень — в чем была —
на слабые ходули
становится пьча.

Шатается и дьлится,
как мертвый и живой.
И воздух новой птицей
шумит над головой.

И все, что отзвучало,
отпело тяжело,
от смерти до начала
бессмертия дошло.

* * *

Что-то запахло рыбалкой,
снегом, торбушкой воды,
лесом, его раздвевалкой,

жаркой плитой, приживалкой,
вывихом сквороды,
временем года, любовью,
дасточкой с бритвой в крыле.
Временем воздуха, бровью
вербы, заблудшей в тепле...

* * *

Блеснет мозоль земли — лопата,
хохлацкий заступ... Ишь стекло
сюда с подворья азиата,
с больших пиров, затанибрата
с водою внешней притекло.

Домой — под землю, в пещелище,
где плодородны прах и боль,
где полперек, по кручу, ваоль
пузырь воздушный, небо, динище
саднит, как свежая мозоль.

И пахнет время духом царским,
не тополиным, а январским,
накинув поле на роток,
где, показавшись на вершок,
шумит савьянский без порток
с молучим именем — татарским,
латинским, греческим — росток.

* * *

Ни птицы, ни желтка, ни скорлупы, ни клюва,
и сон во сне высок, и натирает лоб
дубленая шьча Гавриды-стеклодува,
ипрающего ветер и озноб.

Посуды пустоты, начальное томление
без соли и слезы с горошиню. Сручок
отсутствует. И варуг — бесполое творение
толчка, не облеченного в зрачок.

Пространство — это взгляд, желание предела,
не жажда, а когда под ложечкой сосет.
И судорога ждет — вот-вот начнется дело,
и слово словом дело назовет.

А хватит ли тоске любви и заботы,
чтоб воздух распускать, вдувая дерева...
Живого языка прекрасные пустоты
додумывать, как первые слова.

* * *

Из любимой глины
вижу всей травой
воздуха теснины,
воздух торловой,
денежку с двуглавой
птицей на асту
по-над перещравой
у тебя во рту,
муравьиной ртутти
летние труды,
расползание сути
в поисках еды,
сахарной березы,
неба и судьбы,
и смертельной дозы
хоровой ходябы,
и опить свобобы,
и любви опить,
и плохой погодой,
чтоб землею стать.

* * *

Покавяка первой капля — с обутком,
с оттяжкой, с колокольчиком, с прихлопом —
не в луже, а по-птичьи — за ушком,
перед потопом.

По-пушкински, по-детски, по-мужски,
продавши позвонки, по вертикали,
как на кресте, привстанешь на носки,
глазами дорываешь до тоски —
тоски, счастливей печали.

* * *

В зимнем воздухе смех и угроза,
и мерцает негитной огня
порошковая бритва мороза —
на замахе ее размазны.

И повсюду за взором борозды,
и попомнишь из тихой резни,
как во вдах набиваются звезды,
как в очах проступают они.

О слезы золотая прогудка,
где до самого неба стоит
вертикальный кусок переудка,
настев на фонарный магнит.

Одиночество — это на плечи
не овчины пастуший нажим,
а сладкое усилие речи,
сбереженное гдухонемым.

* * *

С той ли реки, с перелиба,
крешнет навыворот дыба
и, с глубинного поврозь,
падает, пятится рыба —
в твердое небо — лосось.

Я ль с остроуго по краю
не бловал на краю.
Имя свое забывало —
так имена раздаю.

Там-то такое-то это —
именования стыда.
Исчезновенье предмета
имя ему сохранит.

Очи я выбелил, выбила
жидкостью жизни, ее
жаждой, и новая тибель —
полное имя мое.

* * *

По размеру зрачка — и окно, и чеканка,
словно сивый затылок припадошца кударщи,
и прижал снегопада — паоскостопьем рубанка —
передомы земли в окоемный пейзаж.

Взгляд проходит стеклом и тупеет снаружи,
упираясь в коллак обозримой зимы,
где опричный снежок, подполсаннный стужей,
сводит голды садов в стуревые холмы.

Где дорогу — в слезах — обложили постели,
только дома услышу височную трель:
с частотою звезды на кустах свиристегаи
окунанот в морозы алмазную дребль.

Я напьюсь из ковыля, я напьюсь из колоды,
из-под крапа — болотной, либающей в бровь:
не красавица смерть, а грунтовые воды
учат полному кругу озвобшную кровь.

* * *

Душка, дачник, разночинец,
огородник — первый снег,
то ли имени гостинец,
то ли тибель и ночаег.
На руке второй мизинец —
вывих, веточка, побег.

Любит махонькая мякоть
тишину о землю пмакать,
супу вливая в твердь,
исчезать и звать, и плакать
солнце, заморозок, слякоть —
воскресительницу смерть.

Это мучка круговая —
белый сумрак, оком —
пропадает, оживая
в легком имени своем.

* * *

4.

Пересеченье мест
являет круг и крест
и воздуха отвесность.
Так возникает местность.

Сначала степь и сад,
потом окно и взгляд,
вернувшийся обратно
оттуда, где невнятно
предсказана звезда
и плаонцится вода
в хрустящие пласточки.
И движется из точки,
из выпятого зрачка —
такого синячка
на облочке света —
душа, слеза, комета...

* * *

Разлуки зимний профиль —
могучий очерк дыма.
В картопечечку картофель
ужарен крепче крыма.

Еще кирпичик хлеба
заможен в кладку взора.
И серебрится небо
под лезвием узора
оконного, покуда
окруту и глаза —
пропалаца, как чудо, —
не сотворит саеза.

* * *

У столешницы твердые реки —
и сучок, запеченный в смоле,
теплой денежкой сплюснен навеки
и оставлен лежать на орае.

Умирано от счастья сегодня
и на стол проливано вино,
и снежинок хорошаля сотня
отпускает на водо окно.

И зрачков толokonная степка
переходит в колодезный лед.
Потому что шершавая решка
все равно твое око найдет.

* * *

Очей самозванство —
не имя, а сад.
Являет пространство
за Господом — взгляд.

Где речи заране
известен недут:
у зверя в гортани
божественный звук.

Без боли и хлеба
и хайби голуб
коснется ли небо
обветренных губ.

Как землю — поакова,
не ответ, а свет —
удержит ли слово
тепло и предмет.

И чашу пространства,
и проласть звезды —
двойное гражданство
замерзшей воды.

* * *

Е. В.

Имя твое — у меня,
остов осеннего сада,
ужас запыля, страпни
воздуха, вали и взгляд.

Имя твое как равнина
на острие высоты,
где запекается глина
и переходит в персты.

Где ледовитые воды
выкитили оком.

И удивленья природы
лепится в горле моем.

* * *

E. B.

Тень твою темнее ночи,
 потому что силой света
 восстанавливают очи
 очертания предмета.
 Не озноб земли и плаоти,
 золотую сволочь зренья,
 а тоски твоей — в помете —
 неизбежность повторенья.

* * *

Ни горечи слюны,
 ни пороха, ни слова,
 как будто со спины
 себя немолодого —
 еще не с высоты,
 уже не из погоды —
 в слезах увидаешь ты,
 как землю выдят воды,
 вспоившие огонь,
 и дерево, и птицу,
 упавшие в ладонь,
 чтоб в воду превратиться.

* * *

Зимний день весны пропавшей.
 Снег летит, переходящий
 в кожу, в глину, в чернозем.
 Пахнет смертью настоящей
 или рыбой водоем.
 У любви чернорабочей
 речь темнее многогощий
 и за паухой ожог —
 пережаренный снежок.
 В мигком воздухе ушибы —

окись яблока и рыбы,
 и прикуса, и крючка —
 то ли взгляда перетябы,
 то ли ямка от зрачка.
 Не попечина — щеколка,
 козь водою стала вода —
 только щипается чуток
 на пятнадцатый глоток...

* * *

Иосифу Бродскому

Сквозь двойное стекло лампы настольной, окна,
 тенью к стене припавая предметы,
 свет раздает пустоте имена —
 контурам, дырам, дымку от моей сигареты.
 Пanoшит, как рифму в пружину сжимает письмо,
 распространяя себя выправо, к востоку, и —
 прочь со страницы.
 Так без желтка прикипает белым
 все, что летит в ячею ротовицы.
 Кубик ли комнаты, шар золотой на кресте
 или движение сердца — левее — к предплечью.
 Зренье и слух убивают себя в темноте
 и разрешаются речью.
 Светом лампы настольной. Крестом окна.
 Хрустом дерева. Вызаккой Арандаулетов.
 Это, Господи, имена
 отрываются от предметов...

* * *

Содрогание каплай, озноб,
 угнетение линзы с подскоком.
 В узкой бездне, в колоде высококом
 белизной наливается доб.
 Не смотри этой калле воссада —
 она вмержнет в древесную ранку.

Нынче вывернут лес наизнанку,
словно красное веко на свет.

Это мартовский вывих сучка
пересек позвоночник эфира
и довел расширенье зрачка
до земного сужения мира.

* * *

Не спится, Господи, не спится,
не умирается, пока
ты знаешь, что наверняка
у соловья во рту земляца —
осталась после червяка.
Не повернешься на бочок —
в стекле окопечном сучок
стинула в колыце остатки сада.
Горчит под утро табачок:
срез сигареты иль зрачок —
с той стороны тоски и взгляда,
где помнит кровь наперечет
пометки ангелов, полет
их прямо против листопада.

* * *

Речка, распухшая от слез соленых...

Ф. Петрушка / О. Миндельштам

1

Звезды недвижным броском иноходца,
вкопанные, перешли на мороз:
годуно воду шинель — содрогнется
речка до Черного моря, от слез,
как говорили в Италии, с солью
горько распухшая — небу по бровь, —
так повторили на севере с болью,
переходящей в любовь.

2

Чую в колодезной стойке движенье
там, где кончается светом звезда:
так тяжела у небес отраженья,
что затвердела вода.

Речка в слезах, оболочка и пытка
ваги, забывшей плавающей рот.

Очи мои облизала улитка,
переходящая в лед.

* * *

За полночь, около двух,
трипкой становится дух
важный и тополиный,
пахнущий небом и глиной.

Как он себя укатад...
Я бы еще полетал
там, где кончается плина,
как под ногтими земляца...

* * *

Н. Ермелинко

Ручей промерз до дна и вытянут как посох
на каменной земле — не савинельшь всемером.
Он весь внутри лимон — в прожилках и колесах,
когда его в ведро нарубишь топором.

В хрустальный карандаш спрессовано движенье.
И косточка воды не прорастает в речу.
И только на щеке синие и жемье.
И крутная зима вздымается оплечь.

Раненые куски несут на печь в избушку —
в стакане красный чай раскручивать в горсти,
как елочную жаркую игрушку,
которую с собой не унести...

* * *

Кончается сигарета.
 С востока растёт окно.
 И вино, пока темно,
 внутри, в пустоте предмета
 под скорлупой — вино,
 прозрения половина,
 даритель и вор — савварь.
 В башке моей — свет кувшина,
 как ночью в окне фонарь.
 Морозы. Метель. Овчина.
 Седьмое число. Январь.

* * *

Слова живут во рту,
 втираясь в высоту,
 придавленную небом,
 как женщина ознобом,
 а то под языком
 иглычатый ласком
 выискуют непогоды
 и смерти, и свободы,
 и боли, и любви,
 и дурта на чужбине,
 и голоса в крови,
 и винограда в глинё,
 пока они во рту,
 где тень тоски нависая,
 выпивают темноту
 Божественного смысла.

* * *

Окоема подстаканник
 расширяет синева.
 Слово сказанное — странник
 в ожидании родства.

Когда море, как монета,
 боковым усильем света
 раскрутилось на ребре...

И до смерти поминишь это
 ощущение предмета
 деревянного в костре.

* * *

Холодное трапье,
 осенняя погода,
 сегодня у нее
 похмельека пешехода,
 рыдающего, в бровь
 поймавшего снежинку,
 кусающего кровь
 в губах — ее горчинку,
 как теплый пузырьек —
 воздушный — в будке хлеба,
 растущий поперек
 и лезвия, и неба.

* * *

А. Синицеву

Паутина да камыш —
 удачка готова.
 Пуганке намолчишь
 золотое слово.
 И забудешь до поры,
 чтоб договоренья
 не растрагивались дары
 воздуха и зренья.
 Пусть без боли и беды
 над сухой ресницей
 имя неба и воды
 подлетает птицей.

* * *

М. Чурыковой

Мороза и слезы —
на ветер — Диоптрия.
Как в зенках стрекозы,
стоишь толпой, Мария.

Ройшейся воды
вручается значенье
растению звездам,
ее увеличенью.

Кто дальнозорок, кто
меняет этой ночью
овчинное пальто
на армячину вольчью.

И выше головы
своей летит и свышит,
как певчие волхвы
молчат и луком дышат.

Кто чувствует край
заплечной вертикали,
где липнет чешуя,
как профидли к медали.

Кто смертен, кто умрет
и зренья перетейбы
оливковым задыт,
чтоб шебетади рыбы

из чада и нуады
печного почечуя,
уже сковороды
и холода не чуя.

* * *

Н. Ермиленко

Зимно чувствуется печь
повсюду — сильно и напрасно.
Грядущее парообразно:
так на морозе видно речь —
она кругла, она оплечь,
она, как женщина, прекрасна.

Сегодня много февраля,
метет, и ангелы — монголы,
они кочуют, и земля
их над землей несет из школы,
как переходные глаголы,
переходящие в поля.

* * *

Е. В.

Ровно в полночь вольнее свобода
убиваться, стоять у окна —
лобом в стекло, в толщину небосвода,
коди давит в затыллок страна.

У печали прямая наука —
тишины непочатый аршин,
продолжение горла и звука,
отпрокинутый — с кровью — кувшин.

И звездами саднит виноградики,
и под медной дунной пешеход,
возвышаемый тенью, как всадник,
над заборами в горы плывет.

* * *

Е. В.

Я высмотрел глаза до формулы воды,
до смерти тополей, до ангельского взора.
Теперь мне все равно — я знаю суть беды
и счастья перебор в просторах разговора.

Лети и стой, вода, лежи наверхника
и лодку попирай большой античной попой.
И саако поутру голландский нож конька,
как первую любовь, любима, поцпобуй.

* * *

Стрелка секундная в мебели, в небе, в виске,
в дампочке перегоревшей, в ее волоске,
в косточке света, обглоданной тьмой
белой, как снег, потому что зимой
все же светло и тоскливо, и звук —
будто погрескивает напружиненный лук
без тетивы или кровью согнуло в дугу
все, что кончается тенью твоей на снегу.

ПРОЩАНИЕ С ИОСИФОМ (1996–2000)

* * *

Лешка окрuti по снегу зрачком,
решкой небес пропечатанный промах,
ловля фонетики диким сачком
там, где ни ангелов, ни насекомых,
где перемерзшей воды суходол,
лешка и лова пустот без подвала.

Где накрывает собою глагол —
все, что появится после глагола.

* * *

Гладилшь светлую землицу —
и суглинок, и песок,
как распластанную птицу
толщиною в волосок.

Износилась — не наладить,
чтоб лешка, возлюбя
землю, жадушую поглядать
в землю лешпего тебя...

* * *

Первое слово — последнее слово,
суши и тверди ночное родство.
Сумерки. Сретенье места пустого
с поаным отсутствием места сего.

Лешится в черепе шар законный,
было бы ныне и присно — темно,
кабы не знать, что в углу, за иконой, —
светлое на шпукатурке пятно.

* * *

Хорошо у печки плакать —
дым сосновый очи ест,
и огня сухая мякоть,
обниманная крест-
накрест сложенные чурки,
проницает горбыли
до небесной штукатурки,
до прозрачности земли.

* * *

С точки зрения снета наковальня земли
горяча, и — как четки — вачится в мороз мостовая
из жесаэзной петли,
из двойных заусениц трамвая.

Где подошва моя — проводник
отвердевшей воды, пересохшей — во влагу,
то есть просто — язык,
не напёдавший черниа, перо и бумагу.

То есть оттепель — в нас, словно в ножнах
кочующий меч,
потому-то и воздух, где взгляда, остаётся горячим,
потому все на свете — не мысль, не сказанье, а речь
перед мыслью и плачем.

* * *

С утра просохла стежка
к реке — до самых уст.
Шмелиная одежка
покрыла вербный куст.
Все ближе теплвый холода,
и поспешает кровь
туда, где только года,
разлука и любовь.

Скворечник — выше ветра,
и времени — в обрест.

Два с половиной метра
осталось до небес...

* * *

Б. Рыжкову

На пороте тьмы просторной
шаровая дрожь,
ты побелки коридорной
на плечо возьмешь.

И почувешь за спиною
зеркало, белье
или крылья, ледяное
рубите свое.

Словно сон во сне — мороку
выпитой луны —
ты себя увидишь сбоку,
с левой стороны:

как ваюль пыли-паутины
под лопатку всякены
золотые хворостины
из замочной скважины.

* * *

Когда рыбак идет по стрелке волноуба
и борода его в сухой морской моче,
пустая сеть колышется, как шуба,
как женшина живая на плече.

А море за семь верст над степью мнет годаубку
и множит за кормой знакомые персты,
меняя гдубину, сворачиваясь в тубоку
и разворачиваясь картой высоты.

На суше хорошо, когда под боком лодка —
у неба, у земли, у хлябей дорогих,
где долго сквозь стекло выготеваает вода
в садах — от яблочка напих.

Шмелное ружно роится золотое:
ромашка, глина, кровь и бронзовый навоз —
как предожжение простое,
распространенное до слез.

* * *

О. Лазирова

Простенок зимы, полустанок
толпились к ногу погода,
и лодка идет как рубанок
по древу твердеющих вод.

И желтое лунное поле
с доской обрезного пруда
ложится столешницей воды
под темные локти труда.

И ваюль беретов приумытых —
застинуты глазом врасплох —
деревья застыли, как выдох,
уже перешедший во ваюх.

* * *

Так устад, что загнулся об тень от стоюба. Тяжело
выходить из себя — из озноба в тепло:
навышали березы — без снега бело,
и меня, как душно —
утолщением каплай, к земле повеало
ремесло —
в пятаке застревает сверло,
русло речи в устах закружилося: ааао, —
наклонысь — лопатка торчит, как весло,

выребает душа, просыпалось назло
смерти. Снова седьмое число
января. От окна отнесло
ветку выдохом. Воздух пропшел сквозь стекло
легче взгляда
в область Космоса, Бога и Зимнего сада.

ПРОЩАНИЕ С ИОСИФОМ

Между землей и дождем — сухо,
тополь тупеет, свернувшись в ухо,
слышно, как воду берут в пенюль,
как в янтаре засыпает муха,
как на кресте отдыхает ланоть.

Воздух сносился к утру как папка —
екатерининский лисий хвост:
то ли паук, то ли лгичья лапка,
то ли озноба в тебе охалка,
то ли орлы и решетка звезда, —

оком такое сквозить и трогать —
что за Иосифом гнуть тузы
или прокуренный желтый ноготь —
крыдышко выдохшей стрекозы.

Или за каменной теплой бабой
города, кухни, как вечный скиф,
смерть заговаривать тихой сагой,
морду от Азии отворотив.

* * *

Взгляд иссякает там, где ты
обычно начинаешь оуд:
взор супротивной пустоты,
столбсь, по капле лмлощит воду
не на снежинки, а сперва
на белый цвет и звон монеты.

И упираются в слова
их безымянные предметы,
и упирается зрачок
в шестигугольный купол зренья
того, кто кружит мозжечок
на вертеле стихотворенья.

* * *

Б. Нордман

Озеро озирает себя. Бежит,
чувствуя на плече своем плоскостнойку,
прячется от себя, как любовь и стыд,
как молоко — в воронку.

Если посмотришь из-под земли — оно
вмято в себя, в потаенную чашу, небом,
как на поминках моих вино —
хлебом.

Столько в нем взглядов списнуто — потому
смотрит оно в себя и стоит ваястом,
как человек, запрокинув лицо, во тьму
входит — и остается светом.

* * *

Томительный свет пустоты,
поводный пейзаж полнолуния:
поляны разинули рты —
такая в округе лазурья.

Когда, отовсюду видна,
отняв у равнины предметы,
из черной бумаги — луна
без ножиц кроит силуэты.

И, контуры арожки держа
в пределах прищипчивой плаоти,
летучаямышь, как вожжа,
отхлопает воздух в полете.

И тронется веретено
ответного взора оттуда,
где непоправимо темно
в большом ожидании чуда.

* * *

1.

Поцелуешь меня. Вертикально,
чтоб не плакать, посмотришь туда,
где, себя обнимая, печально,
нистадая, восходит вода.

И, готовясь лицом к полнолунию,
не заметишь, забывшись сава,
что листва отливает лагуною,
как латынью иные слова.

2.

Отсыхает язык у растений,
прозябает худая листва —
как латынь, в позолоте осенней,
не нашедшая в смерти родства.

Видно, в птице парящей провисла
нитка крови, и крыла коромысло
окоемную держит черту,
обводящую полную смысла,
золотую уже пустоту.

* * *

Н. Дьячковой

Снег не вятедь — оформитель
пустот сколоченных в мороз
и надыратель и хранитель
пространства времени и слез
и звезда в незримых пирамидах
где зависает без петли
заиндевший сад как выдох
земли набравшей в рот земли.

* * *

Сердце привлекает правую
руку к большой груди:
как хорошо я плаваю
все еще впереди
жизни, в моем мааденчестве,
чтоб налетаться вырок,
чтобы в своем огечестве
не горевал пророк.

ПАМЯТИ БОРИСА РЫЖЕГО

1.

Ни ана, как в ливень, ни покрышки,
петля округи все слабей,
и воздух айс, как после стрижки
и в ажных ножниц голубей.

В ресницах прячется отмычка
ночного зраченого ума:
то ли чернеющая спичка,
то ли пылающая тьма.

Ночь, с 6 на 7 мая 2001 г.

2.

То слезы из-под века,
то растворимый снег
из-под крыла голубки —
светлее пепла в трубке
тирана на пинурке
у бедного поэта:
типун на языке,
сухая кровь предмета...

7 мая 2001 г.

3.

У татарина татарка,
что у странника — страна.
Дыет огнем электросварка —
тяжела ее слюна.

И в лесу все меньше леса,
больше камни и железа:
не березы — чучела
золотые, ни бельмеса —
на кресте, и — без пореза —
глина белая беда.

10–12 мая 2001 г.

* * *

В. Битюгов

Скажи мне что-нибудь такое
 про привкус дерева во рту,
 про силу встречного покая
 с окурком, вмятым в темноту,
 про заморозок косоротый,
 где воздух узкий, как петля,
 и снег становится пехотой,
 когда вжимается в полд...

* * *

М. Дворовой

Укорачивает воду
 виноградная лоза,
 выдывая на свободу
 с твердой косточкой глаза.

Немодимо в алкоболе
 море зрения. Авовит
 корень греческий в глагоде
 и руню с дорожкой моли,
 и аорист аонид.

Пей себя и пой — горячий,
 ловчий, топчий, доезжающий,
 ледяной, живой — до Ана:
 скоро снова станет зрячей
 кровь на кончике вина.

* * *

Унесло с балкона майку
 ветром. Я один остаюсь.
 Тополный пух в фуфайку
 по обочинам скатался.

И хожу я полудольный
 по сельному этажу —
 невозвратные глаголы
 на озноб перевозжу.

* * *

За тополь в Араной теплогрейке,
 за каучья ваты по двору
 глотну воды на три копейки,
 достану спички и умру.

А сигарету, сигарету —
 во всю длину, во всю длину —
 я на пути к другому свету
 уже беспшумно разомну.

* * *

Росинка маковая страха
 с бутылкой водки на столе —
 испепеляется рубаха
 на ознобывшемся тепле.

И озеро в дырявой майке,
 и в роще месид-кукловод...

И на бочонке у сарайки
 играет кот на багдайке,
 покуда чешется живот.

* * *

Что же, пройдай, на высококом ветру —
 щемли небес пирюки на балконе
 незастекленном. Когда я умру —
 твердыми станут ладони.

Дажешь ли в глину — последний прокол,
сжатие воздуха в легких до взрыда:
все остается, как вечный глагол
несовершенного вида.

* * *

Душа — побег, душа — отрада,
в теснинах дикого родства
есть нитка белая у взгляда,
и сразу после снегопада —
куда ни глянь — не видно шва:
дух и материя едины,
и воздух лепится из глины,
и все на свете — синева.

* * *

Пролетели почва, да проседа —
пламень последних опл.
Кешку бы в ролцу забросить,
чтобы начать дистопца —
банное зодото, стыдость
в бусах янтарных смолья.
Чтобы за смертью открылась
чистая часть бытия.

* * *

Памяти В. Р.

Табайчка в белом небе «Не
курить!». Всегда в чужом окне
смотреть в окно мешает ветка.
Как на казенной простыне
любовью вытертая метка
кури — вот спиички, сигаретка
и от шапальной башки таблетка,
и губы в высохшем вине —
здесь скоро всех нас будет не.

* * *

Не за что зацепиться
звучком, ручкой, сяноной
глаза, когда ресницу
всаживаешь в иной
воздух, как шар, сквозящий
мимо, в веретено
выдоха: настопиши,
прошлый давным-давно
и языком забытый,
брошенный поперек
тени своей, убитый
рифмой пастух-пророк,
синтаксисом ответа
вывернувшийся торгандь,
ссылный — как вывих света,
как офицер — в Тамань.

* * *

Без красных кирпичей мороз возводит стену
прозрачную, как лист жемеза на огне.
И зрение небес, твердая постепенно,
стаканы янтаря ворочает во мне.
О светлый мед смолы и воздуха иного,
вас тянет из дорев, из моря и земли
не теплый легкий лед изменчивого слова,
а русская соха и синтаксис петли.

И оттепели гной меня из дома гонит
глазами из окна, из боли болью в боль.
И к ночи красота рубцуетя и стонет
и выдыхает в воду алкоголь.

Узлы моих садов давным-давно совладали
с веревкой вен моих, опутавших меня.
И все, что я сказа во тьму по вертикали,
теперь выскучет снега и огни.

* * *

За привкус старости во рту
спасибо. Эту высоту,
вакуумную горизонтально,
еще придется одолеть
и песню вечную допеть —
последним воздухом — печально.

* * *

А. Рещетову

Молчит на кухне человек
так хорошо и бестолково.
Все остальное — свет и снег,
и дель, и дерево, и слово,
и небеса в полуверсте,
от стекла, веноших в ладони.
И три синички на кресте
решетки ржавой на балконе.

* * *

Кухонное окно
бросит на землю тень —
все, что во мне темно
или светло, — сажень,

Клин из меня — во тьму,
к воздуху моему,
где у тебя слова —
словно в траве трава.

Словно в абыханье прах
жизни — такая твердь
звуча в твоих устах,
что умирает смерть.

* * *

Что-то стоит за спиной:
памяти столб соляной
или прибуданного взгляда —
в толще слезы — кодоннада:
в комнате, в книжной пыли,
нежные мышцы земли
сами себя заплели
в дерево без переплета,
не выходя из петли
смерти, любви и полета.

* * *

Скелет воды у Фаберже
в яйце из мрамора и птицы:
сверкнет снежинке буква «к»,
как лампа в кухонном ноже,
и — шестипалай — кружится.

Летит посланная, одна —
еще в силке мотучей читки
чужесной литеры, в убитке,
как тот жуточок в электролитке
да буква «у» в пустой улитке,
поскольку выпита она.

* * *

Е. Касимову

Пытане озьбили
и плавнут, как рыба на льду,
как будато на грабди
они наступают в бреду.

Одна, в полушкаде,
без родины и языка,
встряхнет в зажитаде
горючую кровь мотылька.

Ее сигарету,
как память, изводит на дым
индийское лето
ведическим зноем своим.

Оттуда, оттуда,
где счастье кружнее беды
и холода чудно
не штопает дыры воды.

* * *

Шагом бежит собака
линии вдоль трамвайной
прямо из зодиака
с голодом или тайной
смерти — рожденья. Свечи
вместо бровей — борзая:
ей не хватает речи,
ей хорошо без лая.

Вся заслонясь от хаоса
детской своей ресницей,
смотрит в родное небо,
где побывала птицей.

* * *

За спиной, за спиной, за спиной,
кто-то так затнудся лунной,
что теперь выдыхает свет,
улирайся, как смерть — в предмет,
теню, голосом, злой травой
не в тебя — ты еще живой,
а в тебя, потому что ты
добиваешься пустоты.

* * *

Рот открывало в хоре —
музыка не слышна.
Так умирает в море
без берегов волна.

Горе мое ты, горе —
слово да соль-слюна,
скоро продавит море
лодка моя — до Ана.

Скоро пристанет к суше,
как пристаёт беда
к женщине — крепче мужа,
если окрест вода.

Ей заложил о уши —
это собранье вод,
если нырнуть поглубже,
тише воды поет.

* * *

Сада зимний стоерос
ознобит стругтуру сеза.
И стоишь на звонкой глинне,
как на детской половине.
Где с небес открыты рты
в новый ужас красоты.

* * *

Камень выскучет глаз,
падьев, тенда, ответа,
коли усильем света
прошлого не потас.
Вытвердав на зубок
силу и звук предмета,

ВЫМОЛИТ МОЛОТОК
ПРОИСХОЖДЕНЬЕ СВЕТА.

Вспышка — что ВЫДОХ ТВОЙ,
старше слезы и речи.
Звезды ложатся в печь и
меркнут над ГОЛОВОЙ.

Пусть типина, пусть имя —
только бы ТВЕРДЬ была:
только бы не пустыня
зеркала и стекла...

* * *

А. Г. Брыляковой

Вся в лентах траурных, вся русская оса,
плагиблум, животное, ночные голоса
то ангелов, то птиц, то насекомых,
огнем свечи вокруг свечи искомых,
вся — длинная коса — вывинчивается
из озера плакучая косица,
и сорвана резьба, и ворсом золотится,
и водооглавляющей птицей —
наотмашь — в отражение лица
вся бьет и опускается, двоя
себя и мир в сосцах осинных,
где берета лобзаются на спинах
земли в гусиной коже и осинах,
распространяясь в разные края...

* * *

Скрипточка зачесалась
или в слезах пека:
сколько еще осталось? —
на долготу смычка,
конского водоска,

до понедельника —
ждать нестерпимой муки
там, где живут слова,
где убивают звуки —
словно колыдло к разлуке
рвут с безымянного...

* * *

Все, что уже разбилось,
скакилось и ушло,
в стеклышке отразилось:
это оно, стекло —
дырка в земле — без муки
помнит глаза и руки
и углекислоту
выдох, и разлуки
страшную высоту.

Вот бы откуда надо
глануть, как смотрит снег
в стеклышко краем сада —
ангел и человек.

В роше ремонт, шеаушлается обои,
это просел до земли небосвод,
в рюмочке взгляда паук с перепною
чешет мне очи и в воздух орет.
Губы мои обнесла паутина:
нет, не простуда, — а саово во рту.
Топчет траву, как газету, скотина,
чувствуя в черных ухах высоту.
Бросило нас утомонное лето,
вот и бредешь от себя вдалеке:
видишь, за ухом одна сигарета,
спичка последняя в левой руке.

М. Нискиной

Смертью растений цветущая вещь —
створжки и ящички, ящер узора,
хвост не откинувшийся, христнувший лещ —
так высота прижимает озера.
Пещь усыпальная, дивный комод,
храм уложения тряпок и книжки
не сберегабельной, наоборот,
в рифму косяго — без ана и покрывки.
Град скрипородный, ресничная вервь,
чудный корабль, растворяющий брюхо,
встав на пога, чтоб древесная червь
изображала извилины сауха.
Домодержавный хозяин судьбы,
да отпусти мои карие очи:
кожи окурок охоч от губы —
углаем уйти в червоточину ночи.

Когда не спишь — в углу павыто
стоит как страшное никто,
не оживая и не плача:
пустеет лес — пустеет дача.
Ледок ворочается в кружке —
и можно ночью умереть,
но колется перо в подушке,
чтобы во сне не умереть...
И побеледа на кадушке
воды колодезная паветь.

* * *

Горькую обновушки...

А.Ахматова

Ты вся как музыка — из маковых
ледышек в зное золотом,
два неба — круглых, одинаковых,
несешь в тяжелых ведах в дом.

Как на ресницы ни наматывай
слезу — обнови солены:
все красен саван у Ахматовой,
все снежен саван у страны...

* * *

Сегодня ласточки и пчелы
ослабонили свет в окне,
а всё возвратные глаголы
не возвращаются ко мне,
как будто воздух откачали
из неба, дабы синева
освобождалась от печали
по кругу и по вертикали,
как от сказителей — слова.

* * *

Скошены пчелы, пропали поля,
срезаны с веток пчелы,
прямо под снегом земля
вся состоит из земли,

СЛОВНО ДУША ПОСЛЕ НАС — ИЗ ТОГО,
 ЧТО ОСТАЕТСЯ ОТ МУК:
 НЕ СИНЕВА, А ВО СНЕ — ВЕЩЕСТВО,
 ПЕРЕХОДЯЩЕЕ В ЗВУК.

* * *

ПЛАТКОМ ПУХОВЫМ СКВОЗЬ КОЛЬЦО —
 ДОРОГА СНЕЖНАЯ НАВСТРЕЧУ
 АСТИТ В ГЛАЗА, АСТИТ В ЛИЦО,
 АСТИТ НЕСЛЫХАННОЮ РЕЧЬЮ,
 АСТИТ БЫСТРЕЕ ВОДОХА В РОТ,
 В ГОРТАНЬ — ГОРЯЧУЮ ОТ ПЬЯНСТВА,
 ГДЕ КРОВЬ ТОЛКАЕТСЯ И РВЕТ
 ПО КРУГУ ВРЕМЯ И ПРОСТРАНСТВО,
 ГДЕ ЭТОТ ЛЕТ И ЭТОТ АСА —
 ТЕСНЕЕ ЛЕТА, АБДА И БОДИ —
 С НОЖА ПОДЛОЗЬЯМ ПОДАЕТ
 ДВОЙНЫЕ ДОЛГИЕ МОЗОДИ...

* * *

ДУМАТЬ, ДУМАТЬ, ДУМАТЬ
 О ТЕБЕ — В ОКНО,
 В ПЕПЕЛЬНИЦУ ДУНУТЬ —
 ВСЕ РАВНО ТЕМНО,
 ПАСМУРНО И СЫРО:
 ДОЖДА ИЛЬ ЧЕЛОВЕК
 В ЭТОЙ ЧАСТИ МИРА
 ПЕРЕХОДИТ В СНЕГ...
 ТАК ЛИЦОМ К ПОТОЦУ —
 МЫСЛИШАЯ СМЕСЬ —

Азия в Европу
 промерзает здесь.
 И окрест ронится
 синою ума
 бедная водлица,
 белая зима.

* * *

Дампу выкручу-выкручу —
 звук пустой и нежный.
 Что-то хлопнет по паечу
 в темноте кромешной.
 Ничего в сквороде.
 Кран поет раздуку.
 Наклоняешься к воде
 почемкомкать руку.
 В тишине такой, малыш,
 ничего не значить,
 даже если говоришь
 или просто плачешь...

* * *

Я поплачу над фильмом плохим:
 еще с прежней женою
 я в кино отпраивался бухим —
 за чекупшкку, с тоской асаяною
 попибад под Феллини. Взапей
 удалялся, скотина-скотинной.
 Я и сам был талантливейшей
 безбоджетной картинной.
 Обрывался как заяц-скачок:
 на пеще пропечатался пруттик.
 Собирагель пространства — зрачок
 мне, как смерть, эту ленту прокрутит
 через двадцать беспамятных лет,

где меня уже нет —
между словом последним и делом,
в этом фильме — то черном, то белом.

* * *

Всю ночь волнистое стекло
по вертикали вверх текло
не сном не отраженьем —
а головокруженьем.

Повсюду дождь искал меня,
и я не закинул огня,
чтоб темноты не видеть
и неба не обидеть.

Я понимаю, что не стекло,
не дождь, а зеркало текло
из памяти — наружу,
выматывая душу.

И не увидишь из окна,
как спит спиной ко мне страна —
чуть теплая, бодрящая,
дождя не нарушая.

* * *

Не гори, картошечка, напрасно —
запекайся золотом в золе:
мне сегодня холодно и ясно,
хорошо и вольно — на земле:
осенью измученная местность,
с бодрячком в коровьем сурдуче,
переходит в чистую словесность,
как дыханье — в иней на паечу.

* * *

Не осень золотая,
а медная почта,

продутая такая,
что господи прости.
Без голоса, без крови,
с солдатским рукавом
леса стоят по брови
в оркестре духовом,
в оглохшем безвозвратно,
зато на всю страну
ипраподем бесплатно
такую типпину.

* * *

Меня на свете нет,
мне сорок девять лет
на том да и на этом —
хожу себе, предмет
предметом.

Вот пара сигарет
и дыма коромысло,
и медленный расцвет,
где имя и предмет
в себе не видят смысла.

Исчезновенья нет —
на все один ответ,
и продаюжашь сауду
под выдох годухой
перезживать собой
своею литературу.

* * *

Небо свои ремни
тянет из труб. Горыней —
тенью от времени —
всюду отброшен иней.

В окнах глотненьх со льдом
спирту — и соably тертый

вскроется плоский дом
озера — в Аве аорты.

Ящик меж двух зеркал
долог как взор, покада
Монарт не отмерцад
страшной изнанкой чуда.

Сердце слабее. Свет
держит его, по ходу
деда вращая. Нет —
все опускает в воду.

Иглами в глаубине
вагга сквозит как зренья.
Так же стоит во мне
это стихотворенье,

синие плавники
в красное окуная.
Можно с любой строки
не уловить, родная...

Когда на кухне и без света —
куда вкуснее сигарета,
раскуренная в типшине
у неба зимнего в окне,
когда слезят за ней снаружи
невозмутимым взором служки
вороны белые одне...

Мне нужен только свет
в башке, когда до света
есть пара сигарет...

Какое чудо это —
воды льдяной фонарь
в окне, где крест авукратный,
весна, ее словарь,
земли словарь обратный.

Мне нужен только свет,
чтобы сказать про это...

И пара сигарет
до самого расвета.

Говорила с перцугу
за бакажкой вина
умиралошему аругу
бестоковая страна
про измену, про науку
звучо скуку пить до дна,
про небеснуто излучку,
про узилпше окна,
где мучительвно, по кругу,
мыслит белокою сосна...

У нас глаубокая зима,
порядок мыслей стародавний:
найти ружье, сойти с ума,
освободиться от страданий,
от света белого с изна-
нкой черной, горькой от разлуки,
от января, где близна
снегов как музыка без муки.

И протрезветь — а над страной
открыта звезда иная карта...

И на картошке — на одной —
затосковать в начале марта.

* * *

Тихо проснешься ночью.
 Тише, чем умереть,
 снимешь ворсинку вольчюю,
 съеденную на треть,
 не с языка, а с нёба,
 прямо с сухой саюны,
 чтобы проплакать в оба
 горла — Тоску страны.

* * *

Сердце сжимается, гибнет звезда,
 светит себе после смерти вадонку.
 Сердце сжимается — это вода
 входит в воронку
 и расширяется как вещество
 боли и счастья с тоской внутривенной,
 муки и радости, в общем — того,
 что остается от нас во всеобщей.

* * *

Волны фору дают брусчатке —
 все теснее, как прежки в сыне,
 словно времени отпечатки
 на распяленной арвесине:
 эти колыда, сучки, излучки —
 поаный свиток ствола живото:
 только крепче родство в разлуке
 и темнее от крови слово.

* * *

А. Б.

Три вороны на север летят,
 а одна повернула на юг.
 Пустота — это взгляд,
 он повсюду, мой друг.

Может, так после смерти глядят.
 Наливай-ка поанее, мой друг —
 все вороны на север летят,
 а одна, сава Богу, на юг.

* * *

А. Сидельникову

Здравствуй. Прощай. Сообщию,
 что счастье сильнее в беде.
 Сбудется все, что написано
 вилкой дождя на воде,
 все, что увидено нами
 в каминном, оконном огне,
 все повторится
 в прекрасной похмельной стране.
 Спи, говорю. Повторяю —
 до лета усни.
 Что-то звенит. Комары?
 Это звезды. Они
 так умиранот,
 и вяжутся взгляды в узлы
 или тесней темноты
 настигаются в небе полды,
 или слеза застывает
 звездною глаза:
 знаешь, та муха,
 которая осенью здесь умерла,
 нынче воскресла. Такие дела.

* * *

Г. С.

Выпьешь на дорожку,
 остановишь взгляд
 или за окошком —
 снегопад.
 Хорошо бы хлеба
 к поезду купить

да в родное небо
холод опустить,
чтобы он за это
в ледяном году
до сеньмого света
спикивал звезду.

* * *

Смерть на продавленном диване,
в резине крепкие персты.
Так обретают христиане
большое зренье темноты.

И чудо выдоха и вдоха —
черемуха и черемша —
уже не воздух без подвоха,
еще не мука и душа,
пока несут тебя как глину
два белокрылых мужика
на нежидану половину,
куда не ходит обака.

* * *

Пушкин, Пушкин, опечатка:
место точки — в горле ком.
В поле брошена перчатка —
пальцы пахнут табаком.

И бредешь стезей отвесной
с вечным ветром в голове
по сухой листве дровесной,
по своей сухой листве.

Оставляя за собою
распростертые судьбой
то ли море голубое,
то ли памень голубой...

* * *

Я ничего у тебя не прошу —
нехорошо переа самой разлукой.
Сердце сжимается — так и ночью
этот кулак между миром и мукой.

Дождь сокрушается небом сеньмы —
нижнее небо стоит снегопадом:
чувствуешь, кто-то шатается рядом —
зрячим, аскалопим, гаухонемым,
музыкой, смерзшейся в дерево, в дым,
остановившимся выдохом, взглядом,
воротником, рукавицей, подкадом,
стеланным голосом голдым моим...

* * *

Опусти меня, мужа и брата,
тяжело мне отбрасывать тень,
это жизни утрата
каждый день.

Тяжело мне отбрасывать тенью
убывающий свет — в темноту
и последнее стихотворенье
горькой музыкой мучить во рту.

* * *

Косноязычные с мороза,
дохнув теплее паровоза,
три, нет, четвyre мужика
стакан от остеохондроза
по старшинству, на два глотка,
по круту пустят, и светка
один из них отрежет хлеба
от хлеба, круглого, как небо,
косноязычен и неслеп,
хотя и мог отрезать неба
от неба, круглого, как хлеб.

* * *

Вок — в клетке
на требухе и воде.
Где твои летки,
волчица где?
Кто это рядом? —
Я до сих пор стою,
встречным взглядом
вкопанный на краю
Авух касток —
этой и остальной.
Глухонемой трехкасток
с крыльями за спиной.

* * *

Е. Ш.

За двухсотлетним арапом
гаины назойливой зуда
стерпится, смябится храпом,
хрипом. Подумаеть — труд:
вон по воздушным ухабам
озеро в яме везут.

Господи, плакать не надо:
слезы дминнее беда,
оплуть и сыпь снегопада —
беда память воды.
Хлопья бы эти собрать — и
вообразить Рождество:
белое новое платье —
всё как вода и обьятье.

Как ты ныряешь в него...

* * *

М. Дубровской

В деревне ночью дым виднее,
чем днем, и дерево-душа
как высота, когда над нею
друтая — тоже хороша.

Там все звезда звезда расскажет
морозным шестом огня.
И снова музыка покажет
мою кончину без меня.

И снова слезы горловые
без влаги, ока и губы
колеблют белые столбы —
как в небе взоры верстовые —
подзорной тигрою трубы.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ 90-ГО ГОДА

1.

Любил бы тебя, да морозная сила
по ветру меня загонада в кино:
в такую погоду глаза уносило,
что в заде до крика бывало темно.

Я вышел на волю из черного хода.
А жизнь убывада, и свыпалось мне,
как снег вырывада кабулки у народа —
и скрип десопилки гулял по стране.

Потрогад трамвай — он Арожад под рукою,
в два рельса, в два горла премел на ходу.
И горда очнулся уже за рекою
деренего — навзничь — в сибирском саду.

Где в беловолосу рюбь кинолент
на слово «любовья» открываються губы.
И в ласточкин хвост упираються срубы
коричневых бань, заглававших Ташкент.

2.

Г. Стигфевей

Хорошо тебе на воле,
государева Невы?
Городское вяжет поле
против серапа рукава.
И, по холоду курносый,
в небо морщится народ.
Это Арожь когтистой розой
по запазухам ползет.

А мороз гудает страшный,
с золотой — под хвост — вожжой.
Забьжим в пятиэтажный,
крутноблочный и чужой.
Ты в подьезде скажешь слово —
это самый сладкий труд...

Батарей парового
отопления поют.
Батарей парового
отопления поют.

3.

Я в жизни твоей — татарва и прохожий.
Но я напоследок впервые живу —
и яблочно с русской немереной рожей
в казенных садах раздвигает листву.

И небо светает в бесстыжие плечи.
Медведицы — обе — мерцают навзрыд.
Подумано только, что смерть недалече —
и кухонный ангел тебя сторожит.

Я знаю, как свет налетает на грядки
и тихий ретей обирает бедро.
Как через тоску молодые солдатки
бросают в колодец пустое ведро.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

* * *

Сердце болит во сне.
Значит приснится мне
детство: июнь, трамвай,
свышимый, словно край
моря, а здесь Урал
ночью куста боится;
даьше — зима, провал,
улица Оружонкидзе —
Сталина быглая,
то есть б/у, а я —
пасынок афавита,
губы сплошные — гусь...
Сердце мое разбито —
как я теперь проснусь.

* * *

Слева рыба́к, справа рыба́к,
сердце Арожит больное,
утром болит, в полдень болит
ночью — все остальное.

Рыба да рак вояу, никак,
выпьют в реке, палыные.
Слева рыба́к, справа рыба́к,
в небе — все остальныс.

Было тепло, стало светло,
в речке стекло стальное.
Слева барак, справа барак,
в небе — все остальное.

* * *

Я ледяную пил в дисбате.
Чекушка лопнула. В солдате
живой и мертвый этот лед
в сплошную вошку перейдет.

Охрана чувствует леденец,
в уме простреливая поле,
и знает, что, когда конец
тебе, — тогда конец неволе.

* * *

Ворохнется в окне ветка.
Я бываю с тобой редко
на земле. Чаще в дереве, в небе
я брожу, позабыв о хлеме,
о себе, о погоде, или
пропадаю в речном иле,
сквозь высококую воду пройдая
без дождей.

Потеряю в паденье лицо, руки,
стану частью твоей округи,
на окне твоём отпечатки
пальцев выставляю в Рождество:
тополь в инее, как в перчатке,
если палкой не бить его...

* * *

За листопадом, за
колючкой отуречной
газа, газа, газа,
есть в осени конечной:

наличие креста
в сырой структуре сада,
падение листа
как продолжение взгляда
откуда-то извне
по долой вертикали,
где помнят обо мне
два мертвеца сава ли:
в иную синеву
сквозь синюю ботву
они летят над нами,
вздувая дым крылами.

* * *

Неба все больше, мало
супи осталось, тверди.
Жизнь наконец сошла
с тем, что коснется смерти.
Снег и земля друт друту —
в лоб, в мозжечок метели:
кажется, что по круту,
в сердце — на самом деле.
Все-таки скорость взгляда —
это не скорость птицы,
а замерзание сада
на острие ресницы.

Медленный взгляд оттуда,
где умиряют звуки,
где происходит чудо
прямо из этой муки.

* * *

E.

На чистку воздуха ева ли
 мне хватит этих смертных уст:
 откроешь фойянт рояля —
 он пыльной музыкою пуст.

Он как раскрытое жилище,
 чердак, где плакала метла,
 как снегопад и пепелище,
 не выгоревшее дотла.

Как дом, не купленный в деревне,
 где ночью рвутся провода
 с душой, готовой к перемене
 не мест, а места навсегда.

* * *

H.

В пепельнице окурок,
 в небе кусок луны.
 Тысячу слов придуток
 вытиснет из стены.

Спи, говорю, куда
 счастья на свете нет:
 значит иное чудо
 мучает этот свет.

* * *

Л. К.

Отвернувшись к стене,
 чтобы прямо сказать стране:
 ненавижу тебя, но не
 умирай, оставься во мне,
 саовно небо, растушее вне
 понимания неба; в вине

не тони, не кураться в огне
 стужи, ужаса и, к стене,
 но с другой стороны — в окне —
 отвернувшись, прижмись ко мне.

* * *

По волчьим следам, по сутробам
 с холодной луной на горбу
 к машине с Серетой и тробом
 и ледашкой Ваней в тробу —
 в арутю деревню за хлебом,
 за снегом в живых волосах,
 вавоём под единственным небом,
 а третий уже в небесах.
 Его похоронят роадные,
 я белого с белым куплаю —
 и белый на горвалшке иней
 как вечность свою приубаю.

* * *

Капля разавинет воздух,
 высунется сюда,
 где в ледавитых розах
 мучается вода.

Не умирай, куда
 сердце во мне висит —
 счастье, несчастье, чудо,
 совесть моя и стыд.

Небо ударит в спину,
 небо качнет буксир —
 кепку свою навшину
 прямо на этот мир.

Кровь коротка —
тинет себя в колыбле,
так что два синяка
выступили на лице.

Это глаза:
яблоко и зрачок,
узкий разрез, слеза —
в уголке родиночек.

Дажешь в чужом бедре —
смерть и тебя спасет:
прямо в грядущее
прошное занесет.

Спит народ
дома, в гостях, в такси.
Только Амурские волны поет
ангел на небеси.

* * *

В пустоте, по дороге домой,
ваоль лежачих озер без рубах
не пропитается взгляд по прямой,
где смитение ласточек, страх:
смычка ваджного неба с водой
тверже бритвы, зажатой в губах.
Дево — швах.

Остановка в лесу —
с синяками доесть колбасу,
увабнуться в костер, как Дерсу,
прикусивши глаза, — Узда, —
мисом век, чтобы эту красу
и живую звезду, как слезу,
в темноте донести до седа.

Мы с тобою умрем от жизни
стариками, лицом к отчизне,
офисерами: я — запаса,
отмичавший вино от кваса
и лосьон от одеколона,
это было во время оно:
я тогда был любви сверхсрочник
и учебной семьи отличник —
русский англ, сиречь заочник
чьей-то вечности. Горемычник —
ныне, выпивший все, что было,
до конца не испивший все же:
если в мире мороз, — по коже
то же самое. Отзнобило,
и погода теперь — любая,
но не та, и сижку постыло,
сам себе на губе лабая:
полночь беда, годубая...

* * *

Ты понял все в последний миг:
и край произрастанья книг,
и все, что ты считал судьбою,
и все, к чему теперь приник,
летя туда, где материк
не тронула море годубое...

* * *

В. Б.

Глазам хватает неба и земли:
 посмотрипишь в даль — и падаешь там, в дали.
 Прошли по берегу королевы,
 оставив в пестрой нагоде
 себя гравирой на воде:
 вода из неба гнет подковы
 для первых заморозков, где
 опавших волн сухая летка
 уже идет секунды три,
 и пахнет снег, как божья кепка,
 наивно, пахнет изнутри.

* * *

Утки летят на восток,
 изобразая кусок
 времени, наискосок
 от бесконечного света,
 озера, ока, поэта,
 встретившего из лета
 осени в правый висок.
 Уток, наивно, с пяткок,
 а присмотреться — четьре
 выгнулись, как докоток

музы, которая в срок
 держит последний урок
 на леденящей лире...

* * *

Дурачок, дурачок,
 отпусти домой зрачок
 с неба семидонного,
 людям похоронного,
 или неба сродного,
 для любви пригодного,

неба золотого,
 как большее слово
 с буквойкой бу-бу,
 с молнией во лбу
 да с душой-обуздой,
 с птичкой белоуздой —
 ласточка пять раз
 поцелует глаз,
 ясный, бестолковый,
 к темноте готовый,
 коли белый свет
 съел на обед...

* * *

Сухая проза — что в завязке алкаш.
 С утра обезвожены поры позора.
 Рыданье подробно, как горный пейзаж,
 увязший в кириллице, где карандаш,
 себя истирая в леса и озера,
 иную прозу помещает в плащи
 на вечную вязку то мысли, то взора —
 в безумие неба, в морщины узора
 и в глухонемое мычание хора,
 когда за слезу все на свете отгадшь.

* * *

Птицы — в прошлое, в лето, на юг,
 а листья, отбиваясь от рук
 и ветвей, на единственный круг
 отрывается перед ночагом
 между голой землей и снегом.

В легком солнце замешкался дрозд —
 взятки глаз ослепительно гладки,
 и алычья пахыные лопатки
 распусят по воздуху хвост.
 По ночам выпадают осадки
 в виде звезд...

* * *

Е.

Стук из подземки посоха
в сердце: ты как, родной?..
Арожь молодого воздуха,
стиснутого водой.

Дасточки выскерк, лезвий
в дасточке визг сквозной.
Где-то от счастья Десбия
мается не со мной.

Остров ее малиновый,
вылизанный догла,
плачется здесь маринами:
Десбия умерла...
Десбия умерла..
Десбия умерла.

* * *

Какая мгла, какая нега —
свеченье холода и снега,
где, вся насквозь в иголках льда,
как елка, свалена вода.

Так думал Дельвигом Одет —
его двадцатый век обидел,
и возвратился в небо снег,
чтоб там никто его не видел.

И в этом доме я бывал
мед-пиво пил почти без хлеба
и лестницу в иное небо
без пешеходна продавевал.

Последний раз, последний раз
я пил и пел не ради хлеба.
И небо втипывало газз,
уже в себя вткнувшийся небо.

* * *

Древняя дымом в смерть заехала,
где, снежный хлебшек кроша,
мерцает бездна словно зеркало,
когда в него глядит душа.

Где иней звезда ерошит брови,
в глазах закрытых карта крови
во тьме с бесенной совпадает —
никто сегодня не умрет...

Никто сегодня не умрет.

* * *

О, Господи, не умирвай
своих животных и растений
и не впервай без потресения
тяжелый, нежный ад осенний
в мерцанолхий и мертвый рай.

* * *

Иди, не бойся темноты,
шумит трава, здесь всё — прохожий:
и сумрак, полный пустоты,
и дождь, и воздух непогожий.

Здесь что ни анга — то Иван,
окрест в пустом, опухшем поле
всю ночь клубится не туман,
а белоглазый обдик бодя.

Идет. Не окликай его —
прохожето, он часть погоды,
он сам — и соль и вещество
уже последних слез природы.

* * *

После сьельмого ноября
заиндевелишай нозаря
деревни, вымершей от пьянства,
ваьхает зимнее пространство.

Прохожий, певший про тюрьму,
из четверга вернулся в среду.
Он — ветер, не мешай ему —
пушай метет по беду следа.

По праху бевому в сьельпо —
аминнее сьез, аминнее стона,
все выше, гаупте, в небо, по
тройной аьжне одеколона.

Снег, позабывши свой язык,
визжит под валенком, змеится,
и непогоды Божий лик
под ним во льду не отразится.

* * *

Чтобы вырезать дуаку из ветки в лесу,
нужен мальчик-зайка и ножик,
и река, и чтоб небо щипало в носу,
и прыгтел под рябинами ежик.

Скоро дождик равнине вернет высоту,
в одувачнике высохнет ватка.

После ивовою дулочки торько во рту,
после ивовою музыка садако.

* * *

Уже зима вбивает в землю гвозди
и сердце из небесной польвы
вздымает, как рябиновые прозды
над пустотой. О ягоды мои!..

Жемчужный лед растет с ветвей — без створок,
бесстыжий свой показывая стыд.
Мне снится море. И оно шумит
в моей земле, где ночь и минус сорок.

И Млечный путь себя ступает в тво'орол,
или в тво'орол, как Иов говорит.

* * *

И, усомнившись в типине,
ты просто лег лицом к стене,
к небесным трепинам — без молний,
но с пылью безды в губине —
и замочада еще безмолвней,
чтоб было слышно, как в окне
искрится стужа злая мякоть.
Чтоб замочадаь лицом к стене
и не заглакать.

* * *

На этом свете, за окном,
всю ночь смеялись без причины,
как будто плакали на том,
где смех и плач неразличимы.

Я вслушиваясь, и влекло
меня, бездомного, к ночаду,
и время по глазам текло —
не вниз, а вверх — навстречу снегу.

* * *

В покойной позе «бобик саох»
усну, и мне покажет Бог
все, что со мною не случится:

вот ангел, дерево и птица,
вот время, вот его подвох,
стена и голод, и горох,
вот камень, в затесях темницы,
ушел по самым ресницам
в иную вечность, в мертвый мох,
вот выдох смерти, жизни вадох,
гопический чертополох,
как текст, впечатанный в страницы
земли, распахнутой землицы
или распаханной врасплох,
вот я, живой в своей светлице
в покойной позе «бобик саох».

* * *

Взгляд остановлен птицей.
Господи, стрекоза...
Небо колыбель ресницей —
Что это? Чья слеза?
Вечность — Просто чудо:
видишь меня, вода?
Скоро и мы оттуда
будем смотреть сюда.

* * *

Т. С.

Вот железная койка,
сталинская постройка
жизни, страны, семьи.
Сыльные — на Урале
жили и умирали
родственники мои.

О, железная койка...
Карпер. Головоломка.
Выскрипеть всего — нет сил.

Сколько узлов, позоров.
Может быть, сам Суворов
в Альпы ее возил.

Дает в любви, как дайка,
сядешь — кричит, как чайка,
в долбаной типине.
Проволочные калетки —
панцырь ее: от сетки —
ромбики на спине.

У, железная койка,
плачет по ней помойка —
я ее разберу
и увезу на дачу.
Лягу. Вздохну. Заплачу.
Может быть, не умру.

* * *

Сорока на стоambe.
Ну что еще тебе
сказать, когда в окошко
смотрию: вот куст, вот кошка
как время ваошь воды
то пьитса, то днитса.
Вот человек, вот птица
и на воде слезы.
И, как заведено,
скользит с небес пшено
по лунному осколку
из рук — из перьев, но
невидимых, поскольку
кончается окно.

* * *

Капелька крови
на заголовке,
ой, на затылке.
Еще на труде.
Крутом опиаки
воды замерзшей. Стужа — сутки
крутые. Он каюет
сначала лёд,
потом травяное семя,
прет его в себе, и время
трепещет... Чечень!
Нет, язви его в печень,
широкогрудый хмырь —
не Суворов, не Жуков, а — сомненья отбросив —
птица. Снегирь.
У нас тут, Гаврида, простите, Иосиф, —
Сибирь.

* * *

У кунницы
короткие ресницы,
как у кошки,
а еще баюшки,
чтобы почесать
уклюженное место, а потом, мать
твою за лапку,
взяв себя в охапку —
спать
и в себе свои сны обнимать:
саоманную охотничью лыжу,
на реке ледяную прыжку —
прорубь, над рекою крышу
прозрачную — видно рыбку,
она держит себя, как скрипку,
упирается в лаубину,
исполняя во сне уайбку
и крещенскую тишину.

* * *

Душа — Сибирь. Душа — погода.
О, сколько в воздухе вина:
два Рождества, два Новых года,
четыре Жизни — смерть одна.

И дерево перед побегом
назад — в огонь, к своей золе —
из снега выпущено снегом,
землею стиснуто в земле.

* * *

От счастья содрогнешься —
и снова не умишь.
А в пять утра проснешься —
окно бросает в Арожь
от первого трамвая,
и странно ровно в пять —
от счастья умирая —
от жизни умирать.

* * *

Деревня пустила
белые корни в небо.
Знать, замесила
квашню для ступни и хлеба.
Принюхивается небо
ступей, звездой железной
к жизни над бездной...

* * *

Проснешься ночью — света нет,
и не было его,
как будто это новый свет,
иное вещество.

Все исковеркано ледаком —
красивое зато,
как будто кто-то босяком
ходил. Я знаю кто...

* * *

Зверушки, лезушки, лошадки.
Венеция и Петербург —
туда не едет Араматург
на мужеложеские блядки:
ему мидей его коладки.

Литвы летучие холмы
и Рим, хваленые поэтом
с дагнутой мертвой у кормы,
гнилошей с празадника чумы,
его не радуют ответом:
не львы, не ангелы, не мы
стоим во мраморе нагретом.

Давно пора по всем приметам
да всем зверьем из холомамы
лизнуть глазное дно зимы
и отразиться в нем вадетом.
И тьма отринется от тьмы,
чреватой временем и светом.

* * *

Воздух бо лит. Сука.
Или душа-разлука.
Или перекурин —
выдохнуть нету сил.
Может, от каждой жажды
я умирало аважды.
Боли своей бласну
с водкой в стакан пласну.

Пусть в глубине мелькает —
к вечности привыкает
в горе, во ргу, во мне,
на обожженном дне.

* * *

Почти отлучившись, отлучив
ночь, косоглазую от саяз,
проснусь и вспомню: снился Гюгчев,
и — сажка белая берез.

Тряхнет скворец, с бесстрастным глазом,
плачистым пуликинским плацом:
кто долгим пропалым был наказан,
тот будет будущим прощен.

Душа отбрасывает тело,
как дым отбрасывает тень
между луной и светом белым
в его смертельную сирень.

* * *

Наместники оконных рам,
пересидевшие икону,
не рассмотриди, как ворону
переломило пополам

Движеньем воздуха и взгляда
того, кто в небе глину мнет
и золотую форму сада
земному дау придает.

* * *

Земное притяжение с ума
меня сведет, наверно, после жизни,
когда в слезах закончится зима
в моей теплеющей отчизне.

Ты топишь печь и плачешь. И нигде
не находишь, я вижу, как со стоном
осина разгорается в дожде,
пылая в зеркале оконном.

* * *

Перемолчишь молчанье боли
и счастья внутреннего дрожь,
зато копеечку мозоли
с ладошки ангела возьмишь.

Пока разучивают птицы
и дети ангельскую речь,
ее значенье на ресницы
успешет лечь.

И шорох смысла бессловесный
соединяет в мир иной
и чистый голос поднебесный,
и опыт сердца неземной.

* * *

Это место никакое,
значит время по судьбе:
здесь комар твоей рукою
даст пощечину тебе.

Это время, это место,
это думы камыша,
это глиняное тесто,
божья павыца и душа.

Это встреча и разлука
обязательно зимой,
чтобы музыка без звука
стала мукой неземной.

* * *

Краснее жизни хлынувший мороз —
огульбой бездны чистая чужбина.
Венозной вишне выставит засос
артериальная рыбина.

Ее ли кровь, иль собитая струной
на пальце кожура набухла кножкой
в опухший дом с заснеженной спиной
как в букву А, рожденную не буквой.

О, этот звук сведет меня с ума —
пилюк стальной, серебряный, кровавый,
пока поет с запытым ртом зима
и дышит дымом и державой.

Свисти, свисти, пока молчит страна
в морозах воздуха-скитальца,
твой, снегирь, гитарная струна,
стремяночная из-под палыда.

* * *

Костерок. Полянка. В подлитровке
два стакана. Хаебушек. И вот
ветерок поглядит по головке
и на ухо что-нибудь шепнет.

Пожуешь заветную былинку,
чтобы стало сердцу веселей.
А потом уснешь с землей в обнимку —
все равно ты женишься на ней...

* * *

Ты легко поднимешь руку
на прощанье, чтоб рассечь
мир на полную разлуку
и на внутреннюю речь.

Беспризорник бьет небольно
в створ небесного окна,
и звенит в мяче футбольном
ангельская тишина.

И опущенную руку
дождавая ищет нить,
чтобы музыку и муку
навсегда соединить.

* * *

Взлетает птица тверже птицы
и ничего не говорит.
Рассвет сквозь перья и ресницы
иную душу сотворит.

И прозревают в травях капли,
и мнится снегом строй берез —
и отражается, как папины,
в воде, рыдающей без слез.

* * *

Собака плавает в пруду.
Я что-то спички не найду.

Вот сигареты, палыцы, губы,
вот берет, лес, палотина, срубы,
вот неба с ласточкой торец,
и с черной удачкой отец

стоит над прудом и в пруду
не отражается, покуда
плавет собака ниоткуда.

А спички — вот, и это — чудо
в две тысячи восьмом году.

* * *

Подуешь в зеркало — волна
поднимется, и нет мужчины:
лицо распустится в морщины
и проплетет. И вот со Ана
иное — словно лес — всплывает:
о, кто его переиначил,
омолодил? Но — торек рот
как плач в себя, наоборот...

Я знаю, что произойдет, —
я в этом зеркале рыбачил.

* * *

Поговоришь с водой,
вернее — помолачишь.
И черно-золотой
качается камыш.

И черно-золотой,
как божья бровь, пшмель
под страшной высотой
несет виолончель.

* * *

Режет глаза в окошке —
это распуститса
то ли цветок картошки,
то ли капустница.

Бабочка оживает,
распространяясь в ряд,
мечется, припивает
к воздуху в ажурный взгляд.

Все на живую нитку
спито — не перепить...

Высмотреть эту пытку.
Выплакать эту нить.

Я старый. Мне себя не жалею.
Вода. Мочание. Рыбалка.
На лодке — ближе к камышу —
я тонкой удочкой машу.

Сама себя пасет корова
и, словно смысл глубинный — слово,
нагуливает молоко,
и выедает перед нею
растения позеленее
бебе, маме и кококо.

И оперную блажь барана
как из нагураного кармана —
я слушать больше не могу,
пока он стонет: «Донна Анна»
на супротивном берегу.

* * *

Как долго лошадь пьет из лужи
начала ноздри, очи, уши
свои, потом кусок небес
и в кромку врезавшийся лес.

И дождь идет, у нас бывает —
он дупит вкось по пузырям,
и лужа ноздри раздувает
навстречу розовым ноздрям.

Целуйтесь, два лица природы —
и жажда жизни и любви,
пока несут над бездной своды
вода и кровь, вода и кровь.

Ваши павьпы пахнут рыбкой,
а хотелось — чтобы скрипкой,
пиренейскою соеной,
жидкой беличьей, слоной
ангела и канифолью, —
только ваши пахнут болью,
жизнью, бездной, глубиной...

* * *

1.

Пахнут опята ядом,
запасневелым хлебом.
Озеро долгим взглядом —
или точнее — небом
соединит до хруста
стороны все четыре
света, чтоб стало пусто
в этом осеннем мире.

2.

С Тютчевым по-немецки
в кедре узнать сосну.
Слушай, купи мне нешке.
Маленькую. Одну.
С Тютчевым по-немецки
о темноте впотьмах.
Лучше купи мне нешке
«Странствующий Монах».

* * *

Уши, особенно мочки,
мерзнут сегодня с утра.
Мертвая бабочка в бошке.
Осень, однако. Пора.

Думаешь странные строчки —
 Боже, какого рожна:
 мертвая бабочка в бочке —
 может, живая она...

* * *

Трава сказала — умираю,
 и в ледяном ее дау
 я босяком иду к сараю —
 как по стеклу в стеклу иду.

Похолодало — все прошло,
 какое счастье жить без чуда.

Какая русская простуда.
 Какое мягкое стекло.

* * *

Чужое небо, занавески
 чужие. Белые пока.
 Не поворачиваться резко
 и влево — кружится бабка.

Не смерть, а музыка сама,
 явленье слез, явленье чуда.
 Увы, да здравствует простуда
 и в горле красная тесьма.

Уж больно губы соданы
 у снов, что в воздухе находилшь,
 когда выходишь из стены,
 когда из темноты выходишь.

* * *

А смерть осинной
 не отдает —
 сугроб гусиный
 сюда плавает.

С другого берега
 по синеве,
 хотя до снега
 несли две.

Идет, готовит
 мужичья сыть —
 о Риме хочет
 поговорить.

Подать ли голову
 по-над водой —
 лепит как волос
 совсем седой...

* * *

И во сне я вадоль неба хожу,
 иногда пролетаю над лесом.
 Это осень. Понятно ежу.

Он живет у меня под навесом.

Не под новым, а там, где дрова,
 там его обнаружит собака.
 О игольчатая синева
 с сединою морощки и мрака...

И, когда я дровишки беру,
 он уходит в нору на отсылку.
 И охалку, бредя по двору,
 я щекой прижимаю, как скрипку.

* * *

В воду врастают ноги
 женщин, овец, берез.
 Слешнут лесные боли
 от деревянных слез.

От оловянных, снежных,
 от алюминиевых.

Сколько их было, нежных?
Сколько осталось их?

Что это листья, вещи,
наволочка, ночлег?
Это ложится вещей
с небѣ упавший снег.

* * *

Волынки плач овцы. Грамматика двойная.
И ангелов нитье и визготня.
Стоять, стоять, очей из тьмы не вынимая,
стужными отбиваясь от огня.

Волынки детский плач. Печаль полунемая.
Двустварная железная кровать.
Дететь, лететь, крыло в чернилах окуная,
и — белое — из бездны вырывать.

* * *

Полянь, Татарник. Мыслящий тростник.
Ева шумнет — не финский ли язык
растительный? не польский ли — родной —
шерстит ночную осень. Шепотной
бурьян да лебеда, чертополох.

Давно язык у дерева отсох,
и слышно, как вздыхают за спиной
леса пустые русской тишиной.
И первый иней копится во рвах —
во швах земли, пока на рукавах
принесят в дом седые старики
решейника сухие парики.

* * *

Все больше интонации, тумана,
все меньше слов, как осенью — вавоem,
как этот подстаканник без стакана:
уже понятен времени обьем.

Где виден лес, там в озере прореха —
вернее, в небе, в паузах его,
где осень остывает словно эхо
рядущего молчания твоего.

* * *

Шепотом дождь поет. Значит вот-вот зурна
вступит и замолчит. Кукла болына. Она
смотрит не из себя, а из земли сквозь нас
в бездну, и вновь в себя — не закрывая глаз.

Пухом земля — земле. Снегом земля — душе.
Хлеб с золотой ноздрей весь отражен в ноже.

Осень сошла с ума. Осень сошла с ума.
Осень сошла с ума. Значит уже зима.

* * *

Снег в форме машины едет издавека,
снег в форме деревьев лесом стоит, пока
снег в форме мужины ищет в толпе огня
и пролетает мимо в форме тебя, меня,
города и деревни, ветра в моей галши
белого — в форме снега — пире живой души, —
и переходит в поле, где его из-под века
бездны не проморгает падающий человек.

* * *

Кто-то умер — ты чувствуешь это:
в темноте на дороге большой —
и незримо до первого света,
улыбаясь, стоит над душой.

Только словом несказанным, молчно
тишины обновляется суть.
И боишься не в зеркало ночью,
а в чужое окно заглянуть.

* * *

Ты откуда, сигаретный,
коди губы на замок,
мимо летный, неконкретный,
умирающий дымок?
Только ангел в чистом поле
жадно курит разве что
от чужой сердечной боли
в голубой рукав пальто...

* * *

Поздняя осень. В пейзаже,
кажется, больше золы,
чем чернозема и сажки,
если не трогать угля.
Снегом твоим пролетая,
вижу в прореху крыла:
кончилась нить золотая —
белая нитка пошла.

* * *

Господи, в глазах твоих стрекозы —
или дабынозоркие морозы
написали что-то на стекле.

В воздухе твои мерцают слезы,
потому что плачешь о земле...

* * *

Слышно, как дерево топнуло.
Холодно. Зибнет нога.
Главное зеркало лопнуло,
баском обсыпав снега.

Земом присядешь на корточки —
ближе к осколкам лица:
это знакомые черточки...
Матери. Сына. Отца.

* * *

Упираясь лбом в звезду,
чувствую, как тесно Богу.
В валенках на босу ногу
ночью выйду на дорогу
и уйду...

* * *

Ты знаешь изначально —
чем глубже, тем больней:
не истина печальна,
а приближенья к ней.
Не бабочек-снежинок
междоусобный дым,
а зренья поединок
с безумием твоим.

* * *

Снег под ногою. Скрипнет
в космосе половника.

Ручка Аверная липнет.
 Все тяжелей ресница.
 Холодно. Ангел вскрикнет.
 Ангелу что-то снится:
 то, что еще случится,
 то, что еще случится:
 небо, и в небе птица...

Очень большая птица.

Ангелы летят снега,
 это с утра бывает.
 Валенок, павший с неба,
 в воздухе застревает.
 В воздухе над державой —
 падает понемногу.
 С левой, а может, с правой —
 он на лобую ногу.
 Не на мою, на вольчью.
 Вздоно — и снег раздуто,
 чтобы увидеть ночью
 пятючку золотую.

Спаю. Просыпаюсь. Не спаю.
 Веками воздух леплю:
 комнату, утро, окно —
 мир, потому что темно.
 Взгляд распадаётся — весь —
 на светоносную взвесь
 между зрачком и предметом,
 между сезоно и светом,
 между землею и небом,
 между губами и хлебом,
 между творцом и творцом,
 между лицом и лицом.

Свет расплещается, я
 вздропну — и два острия
 взглядов, летящих навстречу,
 при столкновении, речью
 вспыхнут во тьме бытия.

Путовицу смахнуло
 время с моей рубахи:
 что-то ее катнуло
 с воротника. Как с плахи.
 Помнишь ли, перестекая,
 пальцы мои и тело
 теплое. Помнишь, белая?
 Белая — пожелетела...
 Горлу теперь вольготней
 воздуха жадать иного
 там, где в саноне господней
 звук вырывается в слово.

Усыпишь ли из первых уст
 и типину, и стон, и хруст
 снежка весной полуживого,
 как трижды сказанное слово:
 на Новый год, под Рождество
 и вот сейчас, когда его
 высоким водам напюказ
 произнесли в последний раз.

У куклушки всего одно слово,
 в котором два одинаковых слова:
 один для мертвого, другой для живого,
 а интервал для Бога.

С крыши дождь опускает сверла.

Ава слога. Прореха. Ава слога. Прореха.

Прореха. Прореха.

Кукучка сама себе горло.

Кукучка сама себе эхо.

Осень. Авет. Не отыщешь супу.

Слез не видно. Читай Васё.

Если захочешь увидеть душу —
просто выдохни. Вот и всё.

* * *

Что наши мысли? — бред природы,
когда она людьми боьдна.

Взыскует разум мой свободь,
а мысль — ничтожна и темна.

И бездна ближе в непогоды,
и небо плачет без конца.

И по воде прохоят воды
как призрак призрака Творца.

* * *

Воробы скаевали пайку.

Слава богу, я никто.

Поменяю на фуфайку
и перчатки, и пальто.

На фуфайку-невидимку,
чтобы с воздухом в обинику —
только воздух и никто.

Над обрывом у реки

без смычка услышу чайку.

Словно ангел сквозь фуфайку
вет снегом в позвонки.

У обрыва. У реки.

* * *

От неба и огня, и от воды глубокой

очей не ответить с присущенной слезой.

Болят лицо земли, поросшее осокой,
по пиркулю с кержачкою косой.

Нет на воде лица. Волна. На ней лица нет:

так смотрит с высоты и давит, боже мой,
окрестный взгляд без глаз — и он не перестанет
быть светом или тьмой. Быть светом или тьмой.

Грядущее — с небес, забытое — из хлябей
вычитывать, читать. Из гололевских стуж
и зноев расплетать огонь, как волос байбй,
до черного листа сторевиных «Мертвых Душ».

Очнуться. Умереть. И долго ждаль ответа:
кончается ли смерть? — Кончается. Она
не дума и не дым, а остановка света —
прозрачного до аспидного дна.

И, умерев, взойти в утраченное время,
земной короткий век перезабыть стена,
и знать, что наяву не ястреб и не темя
упрется прямо в бездну — а душа.

Не пустотою стать, а новой частью взгляда
окружного, когда все видится, когда
не слезы принимают форму ада,
а время — форму пламени и льда.

* * *

Пахнет ладонь сосной,
 Кто-то умрет весной, —
 Чуют иные глины
 безанной без серадевины.
 В бездне полно тепла —
 вот она подошла
 к окнам твоим вплотную,
 песню поет बातную,
 что не умрет никто,
 так что снимай пальто
 и обдачайся в ватник.
 В небе уже стервятник
 к небу стоит спиной —
 думает, что сосной
 пахнут пила и руки
 у мужика, в разлуке
 с городом и страной.

НИЖНЕИСТСКОЕ

Б. Р.

На кадабшпе берременная, вот
 она, как дождь, сквозь заросли идет,
 выходит на дорожку, где мальчишка
 пинает что-то лопнувшее — пшпика
 сосновая, а рядом, дождавик
 швырнув на пень, с лопатого мужик,
 подвыпивший, советуется с глиной,
 где начинать, и с тредью соловьиной
 в носу — бродяга горестконо конфет
 прохожих угощает, он поэт,
 но мертв давно, и вот его волнение
 передается воздуху в груди:
 так он идет с собакой впереди —
 отпущенный землеко в увольнение.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

* * *

Сколько времени там на весах,
 кашли две — это горькое чудо:
 не успеешь привыкнуть к земле,
 как пора закружиться. Отсюда
 улетать, потому что зима,
 убывать, зависая над телом,
 в чем-то белом, наверное, белом
 или черном, как вечность сама.
 Или в чем-то прозрачном, в чем, ах,
 нас выносит в небесную дырку.
 И — соленые ленты в зубах,
 чтобы не потерять бескозырку.

* * *

Какие там стихи — идет война...

К. Кавадис

Какая там война — идут стихи:
 просохнут слезы, новые родятся
 придурки, урки, петухи,
 политики, с которыми обняться
 придется и народу, и царю,
 и пользователям эфира, —
 так я в Александрии говорю
 устами тибнүшего мира.

* * *

Кто-то в печной трубе
дедает на губе,
локоть вознив в коленю,
траурного Шопена.

Сажка не горяча,
не горячей плеча —
теплится еле-еле,
но попереk метели.

Музыка вверх пошла,
сажка ее беда,
и не болят колени
у печника Шопена.

* * *

Меж безднами двумя
то лодка, то ресница
качается, стоймя
стоит себе — и дается...

Утешь меня, утешь,
глагол, своим недугом —
своим зипньем меж
значением и звуком.

* * *

Хочешь свою страну
в губы поцеловать,
в серую седину,
в снежную благодать,
в белый, как полотно,
в долгих слезах простор, —
соединив в одно
губы, мороз, топор...

* * *

Кто-то спросил: — Ну, как? —
ночью в пустом доме.
Я говорю: — Никак, —
этому никому.

Поздно. Я спать пошел.
Просто оставалось свет.
И положу на стол
парочку сигарет.

* * *

Пойти проведать непогоду,
ворону, гладоу листву,
природы поодну свободу
и сон деревьев навью.
Увидеть, как беда у коршунна
и как ащипи себя ведают,
и сколько прямо с неба скошено
сухой воды в осенний пруд.
Махнуть на все заморской удачкой,
порвать капроновую нить
и за пчелой последней — дурочкой —
сквозь слезы горькие следить.

* * *

Юным и сумасшедшим
Гоголь глядит в окно:
будущее прошедшим
стало давным-давно,
нечудотворной силой
вынет его крыло.
Морью его побило,
инсем припекло.

Пальчик из рукавицы,
ты укажи, куда —
прочь — улетели птицы,
может быть навсегда...

* * *

Меркнут недолгие птицы сады,
ангел, мой мальчик, бежит вдоль воды.

Пашет вода, переходит в песок,
важный и теплый, как детский висок
под кашпоном и шляпкой,
визаной, с белой лошадкой,
пересекающей наискосок
все, что прекрасно и скоро в песок
преобразится украдкой...

* * *

Перевсади меня
с дождя на детский лепет
усилием огня,
душа, сомнение, трепет, —
коль свет на том — другой,
чем свет на этом свете:
не вольтовой дутой
он порожден, а дети
его, во сне взлетев,
вынашиваят в синий —
мышлением дерев —
в невероятный иней,
иной в конце концов:
так речь врезает в строфы
и мысли мертвенцов,
и голоса голофы.

* * *

Дождик чует наготу
женщин, улиц и растений,
словно гений, просто гений,
пишет воду на мосту:
пишет, над теченьем стоя,
пишет время золотое
так, что течь невозготу.

* * *

Плачет коза, поднимаясь в горку.
Кто-то затеял в лесу уборку.
Осень. В отхожее сыплют хаорку,
чтобы осело. Курю махорку.
Вот на околке заело шторку.
Стало светлее. Пусть будет так.
Это, наверно, хороший знак:
коршун выписывает восьмерку...

* * *

E.

Ходит музыка по коже.
Серебрится вдоль дорог
что-то медленное. Боже
мой, я тоже одиноко.
Ничего. Я умираю.
И, с закушенной губой,
непотога пахнет с края
азиятского — тобой.
Ты без музыки танцуешь,
смотришь небу прямо в рот.
Трижды воздух полауешь —
и собака пододает.

* * *

Антону Негату / Эмилии Хезарти

Прости меня и отпусти,
как дым табачный на свободу —
в окно, которое в горсти
не унести, как свет и воду,
как зимний воздух с белым дымом,
когда морозная насада
стирает в небе голубом
следы дождя и снегопада.

* * *

В окне — снегопад: прохулился карман,
наверное, главный — и ты засыпаешь.
Обратно в чернильницу первый роман
из подустилавшей тетради сыпашешь.
От уст эпилота вся жизнь потекла
из смерти в рожаенье и дальше — к зачатью,
к тяжелому синему женскому пальто,
свисающему, как Байкал, со стола.
К трельяжу, одетому в чье-то пальто,
к Аверьям, не умевшим настечь открыться,
покуда за ними никто и ничто:
не ангел, не ангел, а снег на реснице.
Не ангел, не ангел, а снежный покров
теснит потолок ослепительной тенью
и, распростираясь, подобно растению,
мерплет изнанкой невведомых слов.

* * *

E.

Эта собака не для езды.
Имя собаки — имя звезды.
Имя собаки — имя цветка
цвета любви и ее языка:

Словно от зной зевнула земля.
Или собака. Собака моя.
Имя собаки — выдох и вдох.
Отчество — Бог.

* * *

Позолоченная стружка.
Ветром выструганный лес.
Заведет земная выюшка
зауто вытяжку небес.

Черный Арозд летит по краю
неба, белого вадми.
Отвыкаю, отвыкаю,
отвыкаю от земли.

* * *

А. Раштгову

Эти пальцы, веки эти
онемели в Рожаество.
Нет на том, соседнем, свете —
кроме снега — ничего.
Помнят ли при темном свете,
как зима вползает в лес, —
птицы, ангелы и дсти...
Население небес.

* * *

Медленно, медленно ваза,
выпав из левого глаза,
бьется. На звук и на свет
вся распадается. Нет,
и на цветы, и на воду,
на пустоту и свободу
поного небытия...

Вечная ваза моя.

* * *

Е.

В русских рассыпчатых прозах
блещет старинная нить.
Сорокоградусный воздух
можно по рюмкам разлить.

Пробка морозная. В штопор
с крышки закрученный лед.
То, что паук недоштопал,
небо снежком обощьет.

Чувствуешь ночью, родная,
как до утра, до утра
долго вода ледяная
смотрит на нас из ведра.

* * *

Е. Дурко

Намашусь лопатого — и сяду
в черствый снег у неба на виду,
погужаясь прямо в колоннаду
снегопада, вставшего в саду.

В белою бобрыничную палату,
белою-пребелою, как стья,
времени посадеанного лопату
сброшу с крыши — пусть оно летит.

* * *

Е.

Что-то еще я хотел... Никак.
Впрочем, уже не важно.
Знаешь, душа возмужала так,
что умирать не страшно.

Стужа свалила пияток ресниц
в свет, в ледяную ржавость,
чтоб не забыть перезвоющих птиц,
чтобы слеза держалась.

* * *

М. Никулиной

Зима в деревне холоднее:
в сугробах бездна, леденя,
сухим огнем отражена.

Какая близкая она.

Живу в деревне — прямо в небе,
о боге думаю, о хлебе.

И ангелы средь беда дня
с рябины смотрят на меня.

* * *

Дождею со снегам

Мороз проницаем и розов,
но горек расплывчатый вид,
где призрак семи паровозов
дымит в деревеньке, дымит.

И некому утром приехать,
и дров остается в обреш,
чтоб выдуть дмазаную перхоть
из опегневших небес.

И волаку ласкают селяне,
и стужей душа восстает,
когда переходит синьне
в зинине снежных высот.

И зябнет у жизни запястье —
до смерти: в канун Рождества
спшибаются страшные части
божественного вещества.

И смерть напооливает значеньем
 все, что не уносит с собой:
 то музыку точит мученьем,
 то бред възвышает мольбой.

Чтоб выйти из серада, когда
 в своем одиночестве темном
 иголками сыплет вода
 в сосуде мороза огромном.

И космос сжимается в дом
 узлами сосны: спозаранку
 он вывернет снег наизнанку —
 и трогает прорубь ведром...

За богом случается бог,
 он тоже не может без бога.
 И неба хватает на вдох
 и даже на выдох немного.

* * *

Е.
 В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом,
 и на веранда пыль алмазная, когда
 варут разорвет бутылка, а воздух невредимым
 останется стоять, как в проруби вода.

Без бабочки твоей взгляда слоится и порхает —
 повсюду снегопад, падаенье и полет.
 Но время — это свет, и он тебя выдыхает.
 Но вечность — это тьма: она тебя умрет.

Тесня звезду зрачком, поймешь в крано убогом:
 что, именем своим, пройдя сквозь языки,
 Бог остается быть двундадесятым богом,
 ваувагошим озноб в живые позвонки.

И варежку прожжет алмазная присыпка,
 и ваденок уйдет в замерзший материк.
 Когда плалешь, снег кричит — еще не скрипка,
 и даже на бегу звучит — уже не крик.

На окнах, на садах — повсюду белый дотопь, —
 любовь моя слепец, любовь моя беглец:
 ей только обнимать, искать, ласкать и трогать,
 и очи закрывать всему, что не слепец.

С фонариком луна и антел с сигаретой,
 как вспыхивает спирт — вот так глдит мороз
 и плещет голубым, на кровле непрогретой
 наращивая соль земли, морей и слез.

Твоя звезда — с кулак, и тоже пахнет солью,
 как кровь твою, в тебе напешдтая тушик.
 Душа хотела стать звездой, а стала больно,
 в которую вошла, как музыка в язык.

* * *

Т. Сингирёвой

Как сладко мне спалось, как мало.
 В слезах очнешься и поймешь,
 что время здесь и не бывало,
 не заходило в эту дрожь.

Вверху, на детской половинке,
 летают ласточки во сне.

И я иду по теневой глинке,
 как муравей идет по мне.

* * *

Погладила печь — спадает жар,
 я глинку миа и плакала ночью,
 и на плечах всю ночь держала
 окруту волачьню.

Распеленнай меня. Темно
 под коркой глины, льда и хлеба
 тому, что дедает окно
 необходимой частью неба.

ЕВЕНЕ
(из цикла)

I.

Убивад. Великовешиа.
Забывад. Кричал во сне.
Твои губы сжаты в пепел —
в сераде, сжатое во мне.

Прозреваю. Вырываю
взгляда из глаза своего,
чтоб обутландось по краю
нашей жизни вещество.

Чтобы жгло окно в конверте
белом, снежном, голуубом.
Что мне делать после смерти,
к чьей руке прижаться абом...

В недочитанном романе
два забытых мертвеца:
я и ты — в чужом тумане,
снятцися без лица.

II.

Иду тебя. Иду по краю,
где львет луна, где львет левша.
Левсе — к сердцу. Пропадано.
Сначала тень. Потом душа.

Во мне зима. Она сквозная.
И я везде. К чему спешить.
Как будто умер я, не зная,
как эту вечность пережить.

VII.

Курю в больничном туалете,
тайком, почти на этом свете,
где лампочка из-за угла
бедаее зимнего тепла,
где мертвые ладошки моли,
черпнувшие чрезмерной боми,

навстречу малют, дураку,
и сыплют пепел на балпку...

VIII.

Ангел плонет в потолок —
ох, больничный, ох, высокий.
Недолет. И мотылек
опадает одинокий,
белый, серый, голуубой,
даже плаевый немножко...

И гмидит, гмидит в окошко
жизнь с закушпенной губой.

IX.

Мышка больничная, жизнью шурупа,
ищет пожрать. Зачесалась душа
у тишины, темноты, немоты,
шторок, прикрывших квадратные рты,
чтобы беззвучно крича, не вслушнуть
смерти немого и хлба чуть-чуть,
капельку света откуда-нибууд...

Ангулу ночью очей не сомкнуть.

XI.

Когда я умер, стало мне
понятно все: в каком огне,
во сне, в окне, в каком бреду
куда я, Господи, иду.

Когда я умер, ты прошла
тропото пекла и тепла
по мне, по мне, по мне, по мне,
по мне — во сне, в окне, в огне...

XII.

Небо опрокидывается — никак
не опрокидывается. Ни капли.
Левый в больнице сожму кудак —
это для капельницы, для палли.

Небо опрокидывается — к нему
я запрокину лицо навстречу:
вижу взгляд, голубую тьму,
отблескующую сном и речью.

Все, что дается как выдох-вдох,
сверху не льется, но вверх струится, —
это Бог. Это просто Бог —
слева ангел, а справа птица.

XIV.

Прошай. Что было — не прошло.
И не пройдет. И вечно будет.
Оно тебя еще забудет
и в окнах выставит стекло,
и поползут из крупных слез
ночных светила аневные лица...

Обыкновенный снег ложится
на деревянный снег берез.

XV.

На окне отпечаток руки.
Это женская пятерня.
Это — ты, от любви и тоски
обнимавшая ночью меня.
Сквозь дадонь я смотрю тяжело,
как ворона пытается вкось
продететь золотое стекло —
словно прошлое наше — насквозь...

В полуснегах, в полубодром
с подземной музыкой иду
к другой — несладханной, небесной —
оборонять свою беду
и слушать ангелов во бьду...

Мне хорошо в твоём даду
молчать над бездной.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Я знаю эту дрожь.
Очей не закрывай —
и ты, земля, умрешь,
бессмертная, живая.
И сквозь твои персты
пройдут пески и воды,
и небо пустоты,
и небо непогоды,
последняя слеза
без боли и печали,
которую глаза,
как мир, не удержали.

E.

Где-то глаза кочуют,
думано, в вышине.
Ангелы в нас ноцуют,
прямо в хорошем сне.
Спи, говорю, родная,
очи закрый — и спи,
медленно поднимая
солнце в чужой степи.

* * *

Птицы не прилетели.
 Вот уже две недели,
 выпустив вербой пруда,
 ангелы смены жадут...

* * *

Бог иногда ночует в яблоке. Червячком.
 Этого не увидишь серым сухим зрачком.
 Только зеленым, сладким, синим и золотым,
 чтобы в живую мякоть взял его горький дым —
 и поносил по ветру, в дырах и в облаках,
 где, обнимая яблоко, ангелы скажут: «Ах!»
 Да ты еще астаешь малячком в полусне,
 савша, как чье-то сердце дятлом стучит в сосне.

* * *

E.

Имя мое у меня отняла.
 Вымыла бабы свои зеркала:
 чисто, просторно и пусто —
 воздух натянут до хруста.
 Зверем хожу безымянным окрест,
 мучано кровь переменою мест
 вой, молчанья и вой,
 небо глотано кривое —
 эту веревку: вползет высота
 в горло из полного мрака —
 и не сказать мне: была у хвоста,
 помнишь, живая собака...

* * *

E.

Дае очень больно, там светло,
 а здесь темно и не бывало.
 Я стал и думал: все прошло,
 а оказалось — все пропало.

Удушь снов, удушь слез —
 до немоты и полной муки
 пронести большой мороз
 и в нем каубящиеся звуки.

У этой музыки твои
 зрачки сиреневые... Боже,
 и ледяные соловьи
 без оперения и кожи...

* * *

В банке кофейной четвире окурка,
 дохлой пчелы Арагоненная пшурка,
 белый, нецарский, дурной пятячок,
 словно утаивший на решку зрачок.
 Сморгит, родной, на меня, как Господь.
 Взять бы его, да с пчелюю, в шепотъ —
 бросить в толкучую воду
 на золотую погоду...

* * *

В стену горох, в стену горох,
 ливень в последней своей приимизне.
 Это не птица запелкада — бог
 заговорила во сне.

Трогано каплаи, на пальдах копланю,
 складывано в ладонь.
 Все, что люблю, все, что люблю, —
 это вода и огонь.

* * *

Е.

Стукнет с небес дубинка
в бочку. И — боже мой —
сохнет твоя рябинка,
брошенная тобой.

Не с высоты полета
ангела, а с земли
видно: твоя работа,
следа от твоей пегими.

Ливень оплетью длинной
вытянет месяц май.

Ночь просижу с рябиной:
только не умирай...

* * *

М. Никулиной

Сад напросился в дом.
Веткой открыл окно.
Что ж, посидим вавоём,
выпьём свое вино.
Выпьём его до дна,
и — легесток на дно:
бэздана у нас одна.
Сердце у нас одно.

* * *

Я думал воздухом и птицей,
оглаживая окоем, —
петлом, малиновкой, синицей
и асточкой, и воробьём.

Отвечай, ангел, поднебесной
звучащей мысли боль и власть,
чтоб между бездною и бездной —
моей и обшей — не пропасть.

* * *

Голос теряет слово
сказанное. Оно
временем стало: слывно
слухом вознесено
в небо, во чисто поле —
в звездах уже на треть,
где хорошо от боли
Богу в лицо смотреть.

* * *

К вечеру, пустившему слону,
к вечности, успевающей удивиться,
звери, насекомые и птицы
поаную вкляючили типину.

Это голос Бога? — Ни гу-гу.
Или спичкой чиркнула пикада?

Хочешь, я прощу и помогу? —
Господай, не уходи из сада.

Помолюсь за Бога моего,
чтоб не плакал — вечный, одинокий...

Голос у него такой высокий,
что не слышно голоса его.

Тесно в сердце сыну и отцу —
пусть они додумают родное,
чтобы постоять лицом к лицу,
упираясь в зеркало двойное.

* * *

Т. С.

Душу спасет беда.
Всё теперь — человек.

Выпьет себя вода
и превратится в снег.

Зиму переомочить,
чтобы из беды дох
снегом с покатых крыш
в подлесье заплакала бог.

* * *

Встому Господа белые брови,
оуванчики и обаяка.
И разрывы растительной крови
в коронарных сосудах цветка.
И течение обшего взгляда
с натяжением неба в реке.
Задыхаюсь. Не надо. Не надо —
сердце держит себя в кулаке,
словно главному розу, от сада
отсеченную кем-то...

* * *

Е.

Ходит шатун-трава.
Может быть, голова
кружится у земли —
яблоны наветами
на вертикаль господню.
День-то какой сегодня?
Вторник. Соседа просох...
Чертополох. Подсолнух.

Ужас в глазах бессонных:
кто из них больше бог?..

Ясно, чертополох.

* * *

Дерево отодвину
в тень на закате дня.
Глина увидит глину —
маленького меня.
Трону пчелой лобешник.
Птичке построю дом.
Чтобы стоял скворечник
в небе с открытым ртом.

* * *

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
саушляю птицу.
Холодно как Санишком светло.
Баба в фрутолке
ковшиком в кашке разбила стекло —
в горе осколки.

Плачет кулик, плачет кулик,
топчет водицу.
Я забываю русский язык —
саушляю птицу.

* * *

Пока мой лещ, свезу глотая, окал
и обрушился вселенную в испуг,
мне прямо в лоб летел с востока сокол —
и поворачивал на юг.

И в лодочке, на узкой половнице,
скользя по тусклому и влажному дучу, —
все, что с тобой и с мирозданием случится, —
надумано, наплачу, намолачу.

* * *

Куличок, куличок, куличок,
Бог сжимает тебя в кулачок,
а потом заполошная речка
разжимает в живое сердечко,
в перелетное сердце тайги,
заходящееся от волнения.

Встоду бездны мерцают мозги,
оперяются пеклом поленья.
Нагреваются белая печь,
накопив несказанную речь,
надеясь теплом удивимым
все, что дому оставлено дымом.

* * *

E.

Откуда такие ребята —
прошлепали, как по воде.
У глины холодные пятки,
у глины ладошки везде.
Ты знаешь, кончается лето,
и температуры к ноюю.
И в сумраке яркого света
я ангелов утром люблюю...

Какие красивые спины
у глины, где мы задегли.
Какие большие дельфины
выныривают из земли...

* * *

К изголовью, к изголовью
дайте, дайте черный свет.
Между смертью и любовью
никакой погоды нет.
И окно со снегопадом
не маячит над душой.
Только ангел долим взглядом
смотрит в землю как бодршой.
К изголовью, к изголовью
дайте, дайте белый снег.
Между смертью и любовью
плачет ночью человек.
Ночью. К озеру. Довольно...
Прорубь с черным серебром...
И воде совсем небожно,
если рвать ее ведром.

* * *

Птичка серая скажет мне:
остаешься в своей стране —
белой, каменной, асфальтой...
Полетели на юг со мной.
Отвечало сквозь первый снег:
я не ангел — я человек,
я — земля, я из глины весь...
Я давно похоронен здесь.

* * *

Рябина, помоги
не закривать от боли.
Ни зги, ни зги, ни зги
в необозримом поле.

Тьма — это тоже свет,
в которм света нет,
там вещество иное,
родное, ледяное.
Тьма — это свет души
большей безъязыко...

Дыши, дыши, дыши —
до голоса, до крика.

* * *

E.

Трисогузка. Серебряный хвост.
Скоро воздух ознобом и Арожью
тронет речку — ничейную — Божью
как большое Ахание звезд.

Так сквозит на реснице слеза
чистым временем, осенью русской,
так мы смотрим на все с трисогузкой...

У нее годуБые глаза.

* * *

Выйдешь с утра — однако...
В бочку впечатан лед.
Заморозок, собака,
в щеки тебя лизнет.

Крепко себя обнимешь
и над землей поднимешь,
и, запылав в Арожь,
беззну к груди прижмешь.

* * *

C.

Влажны плачущие, то есть
они утешатся, и повесть
о них забудут там и тут:
ее на дождь переведут,
потом на снег и на стуробы,
потом на небо в звездах, чтобы,
лик запрокинув, сквозь мороз
ловить кристаллы Божьих слез.

* * *

Парашнет с неба гвоздь,
как по душе, по жести.
Мерзает волчья ость
в густой собачьей шерсти.

Рукою проведешь,
как Бог — по небосводу,
выскивая Арожь
звезды, ее свободу
светить во все край,
пространство продавая...

Собака ты моя.
Хорошая. Живая.

* * *

С рибинной поздорываться. Умыться
из бочки. Перед этим удивиться
слепому отраженно своему:
лицо му-му,
щетка стареющего. А когда-то
оно бывало слипком бородаго.
А ныне нависает сивый пес
над бочкой слез.

Липо тоски, черствешего хлеба —
на фоне круглого из боочки неба —
возносится, вжимается в мороз
уже без слез.
Уже без слез.
Уже без слез.

* * *

Так пасмурно, что нету небосклона
и некуда мечтать.
Вот лобачевская ворона:
пропала, появилась и опять
исчезла, и внезапно оказалась —
и с глаз долой средь беда дня,
как будто вся во времени осталась...

Как мало времени осталось у меня.

* * *

Но снега первого зверек,
пушистый, на плечо придет,
свернувшись медленно в кашачик,
а мимо шел какой-то мальчик —
и варуг взлетел, и наутек —
легко и вверх, скосив зрачок
на то, как мы сошли в подвальчик —
я и тоски моей зверек.

* * *

E.

И вспомнила я: ты здесь была
белым-бела, белым-бела —
и душу мне, как рукавицу,
и опалила, и сожгла,
и, леплом выпутлив десницу
и оперив ее, как птицу, —
крыло над смертью подняла...

* * *

Имя нашло преамет,
ты о него заплещься:
он появился — нет,
от сотворен; вернешься
из темноты во тьму
с лунным, в пятаяк, изьяном...
Имя болит — ему
мыкаться безымянным.
Имени твоего
воздух горяч и едок —
просто себя всего
выдохну нагосаедак.

* * *

Нежнее инея в зверином ухе,
сосков маминоных на сучьем брюхе —
не имя, а снежинки костный хруст
от дуновенья Бога; Божьих уст
выскуют твердые уста сибирской стужи,
звезды полярной зрак становятся все уже,
все глаубже вадох, все ближе к Богу Бог,
и в хрусталях — мертвец чертополох;
ади репейник сам себя сосет —
сосульку сладкую — и не произнесет
никак свое большое имя смерти,
не чуя сквозя сугроб чутунной тверди.

* * *

Маленький человек,

мальчик — щека в песке:
гаина у нас, как снег,
таст сама в руке.

Если тебе не лень —
вылепи воробья...

Ангел отбросил тень —
Господи, это я.

* * *

С.

Буду водой стоять
к дамбе лицом — и течь
в пнаозы за пиаьню пиадь,
так растпыямись в речь,
так испарямись весь,
чтоб Иисус босой,
если вернется, здесь
ноги омыла росой.

* * *

Е.

Говоришь на темном и венозном
языке в казенном терему.
Тесно слову в воздухе морозном,
тесно в слове духу твоему.
Покачнешь в очах своих сухую
подынно сирени на окне...
Обниму и в тема поделуо —
сквозь меня молчащую во мне.

* * *

Е.

Ты в воду посмотришь — потом из воды:
твой взгляд голубые оставит сады
на небе, водой отраженном,
на небе, травой окруженном.
Ты в воду смотришь, как смотрят в нее,
зыскуя грядущего. Это питье
осталось на пайьцах от Бога —
немного, ты знаешь, немного.
Ты трогала каплю — не узеда, а связь —
куда она деалась, откуда взялась —
и дула на воду, сквозь слезы смеясь,
и дула, как после ожога.

* * *

Живой и мертвый, с вечностью во рту,
где прямо с неба оды пьет Гораций,
где зренья продувает пустоту
до обморочка, до галлюцинаций, —
живой и мертвый, здесь я говорю
о том, что я еще с тобой побуду, —
так говорю земле и снепию,
а значит — ангелу и чуду.

* * *

М. Гордеевой

Синичка села на павчо,
и мне от страха горячо —
вот улетит сейчас обратно
к себе: ищи ее, свищи.
И плещут ангелов плащи
в лазурь серебряные пятна.

* * *

Е. Шароновой

Под крышечкой пусто. Нет, под нею
поавда и пыль похмельных дней.
Пустой кувшин поет сильнее,
и заунывней, и страшней.
Пока вино бредет оттуда,
где дремлет жизнь, издавдека,
и проливается как чудо
из красной пасти черпака.
И чем полней, тем глубже, глуше
звучит кувшин в конце концов,
как нефриканийные дупли
оастых в глину мертвецов.

* * *

О, сколько памяти в пролаже,
 какой в утрате ясный свет.
 Взгляд из окна стоит все там же —
 а дом стореа, и окон нет.
 И боль большая безлагодьяна,
 и кровь натянута, как пасть.
 И утром снег такой, что больно
 с небес
 ему
 в глаза
 смотреть.

* * *

Есть нитка золотая, есть игла
 у молодого старого шела,
 чтобы заштопать старые кусты
 для молодой высокой высоты,
 чтобы светла, красна или темна —
 вся наливалась в ягоды она
 до капляи.

* * *

Хорошо ты сидишь у окна,
 значит — кто-то с другой стороны.
 Ах, кака ворона видана.
 Ух, какие стаканы виданы.
 У него на лице стрекоза —
 у тебя на реснице слеза...
 Ах, какие навстречу глаза.
 Ах, какие навстречу глаза.

* * *

Стать золотым и нелюбимым
 и умереть — и всё забыть.
 Работать воздухом и дымом,
 и белой глиной. Глиной быть.
 И пахлев жадать — с небесной тенью —
 для лепки, ласки и труда
 Того, кто выгладит смягченье
 из благодати и стыда.

* * *

Понемногу светает. Гуман
 холодит вещество человека.
 Словно Бог наливает в стакан
 осторожное звездное мако.

Одеяло не помнит паеча,
 чтобы плоть твой светом асиналась
 и, в ознобе своем — горяча,
 окоему навстречу светилась.
 Обними себя — ты уже есть:
 стало зябко и пальцы не гнутя.
 Это боль, это чудо и честь —
 умереть от любви и проснуться.

* * *

Е.
 Твой бывший ангеа у окна.
 А говорят: весна, весна...
 Последняя она.

Слезом, как в шепоть, возьмешь
 чужого мира плоть и дрожь —
 и горечь проморгнишь.

Молчишь и держишь высоту,
как Арахму кислюю, во рту —
дышать невозможно.

Твой бывший ангел вышел весь,
а ты окошко занавесь —
и станет пусто здесь.

* * *

Крикнуть себе вослед:
счастья на свете нет,
Если случится где-то —
значит, оно без света.
Меньше в огне огня
стадо. Наповину.
Вылети из меня
глыбу.

НОВЫЕ ЭЛЕГИИ

* * *

Рыбы целуют изнанку
неба, накрывшего пруд.
Письма воды спозаранку
птицы с водной перчатку.
Кто это ходит и пишет
узкой стопой по воде,
выбьется, плачет и дышит
белой слезой в бороде...

Чтобы увидеть плотвичку —
кружев дыхательных Арожь,
ночью горящую спичку прямо
к воде поднесешь.

* * *

В. Бабенко

Мед золотой листья выпит наповину,
в дерево наливает с неба прозрачный дым,
выпитое пространство — вечности смотрит в спину,
видит березу, медом погнуло золотым.

Если не утирать слезы, увидишь руки —
в пятнышках божьих кожа, белые рукава,
сыплющие сюда то типину, то звуки,
помнившие щепоть, чтобы ловить слова.

Пальцы твои всегда пахнут медовой глиной,
 воздуха воск зальнот в горло — и теплый звук,
 если голосовой — ходит дорогой дининой,
 если как поцелуй — то исчезает вдруг.

Сердце не надломить хлебом неучерствивым —
 разве что надорвать, как золотой листок —
 листик, листочек, лист — вместе с прозрачным дымом:
 осень тебя целует прямо в седой висок.

* * *

1.

Не с горя, нет, не с перепугу
 ночь безоглазая бледна —
 ваюль неба ливень гнал округу
 и выпивал ее до дна.
 Там вечность сауху не помеха —
 и вагли шум и кровь твою.
 И выворачивалось эхо
 в именованье бытия.

Когда ты шел, не зная броду.
 Когда вода упала в воду
 с неавижной скоростью сверла.
 Когда Елена умерла.

2.

И снова Бог заплачет надо мной
 и смерть свою к моей любви ревную
 и высота срастется с глубиной
 в отчуждающую динию прирону
 и ливни повсеместная метла
 густеет и растет из водостока
 и ангеау с метлою одиноко
 Елена умерла.

Кто мне веки горькие поднимет,
 раздвинув раздулки мертвый меа...
 Дождь тебя, как дерево, обнимет,
 ознобит, осинной назовет.
 Мертвый дрозд — откуда он, откуда
 утром, ниже неба, на крыльце...
 Сколько в нем и ужаса, и чуда.
 Сколько смерти в этом мертвеце.
 Всею забрал, большуно, на рассвете.
 И теперь в округе благодать.

У, какая горечь в сигарете,
 то есть в жизни, я хотел сказать.

* * *

Словно бабочка шире окна,
 иная камушком думает печка.
 Застрелилась моя типшина —
 иная треснула в небе дощечка.
 Или звезды стеснились в груди,
 прямо в сердце — и кровь серебрится...

Только в небо мое не ходи,
 слышишь, в небо мое не ходи,
 просто в небо мое не ходи —
 ты не ангеа, не взгляда и не птица.

* * *

Кто-то вскрикнул: «Баба Настя!» —
 где-то в небе, высоко.
 Сыплет смутное ненастье
 вкось сухое молоко.
 Визнет соднышко на хвосте.
 Дождик к торцу подошел...

Лишь бы тот, который в небе,
 бабу Настю не напел.

То пшмель пинается. То муха
Гомера вытнёт из тьмы.
То тишина. То тибель сауха
в грядущем пороке зимы.

* * *

Из леса, брошенная всеми,
осина вышла. И окрест
она стоит одна, как время.
Как крест пылающий. Как крест.

* * *

Сивый, большой, податый,
жизни на три копейки —
вот древенский Данте
в ваденках, в теаопрейке,
в думках, в своей простуде,
вечно в обнимку с твердыо:
ангелы — это люди,
переболевшие смертью.

* * *

Прошла проза, хорошая проза,
стремительно, как в радости — страданье,
переливая страшные глаза
из мироздания в мирозданье.
Могучая таинственная связь
моей земли, эфира и озона —
как будто пашня в небо поднималась,
и облака — как призрак чернозема.
И в небесах увидишь мужика,
склонившегося над хрустальным паутом.
Сейчас он перепалет облака
и поперек, и валь, и полукругом.
И станет тесно между двух зеркал:
в одном — душа, в другом — душа и тело.
В одном я к жизни новой привыкаю,
в другом она смеялась и бодала.

Гроза идет, хорошая проза,
и за руку сквозь свет ведег рйбину,
переливая синие глаза
из глинны в глинну.

* * *

Чертотолоху-чуау
хочется только взгляда.
Бог обитает встоау,
не выходя из сада,
в общем-то, из любого,
лишь бы была рйбина,
чтобы больше слово
губы твой любил,
чтобы в стихотворенье
высветилась саеза:
это, конечно, время
щиплет тебе глаза.

* * *

На расстоянии выгинутой — здесь —
руки, разлуки, памяти я весь
почти исчез. Так в дадьнем разговоре
не слышно слов, но что-то шепчет море.
Как хорошо, что жизнь всего одна.
Большой реке в наклонном русле тесно:
отгнав себя от глиняного дна,
она встает, как вечный дождь, ответсно
и льется вверх в меридионуто тьму
навстречу возвращенью своему.

* * *

Перышко чье-то прилипло к пороту —
это с большого крыла.
Сад облетевший упал на дорогу,
все, что осталось, — метла.

Будет сподручно и ветру и Богу
осень смахнуть со стола...

Время ворует себя понемногу —
так, чтобы вечность была.

* * *

Когда с фонариком рыбачишь,
ты как светило что-то значишь
и пирамиду глубины
ведешь вершиной от волны.
В ней рыбы долгие летают,
сухое золото глотают,
текущее из фонаря
в глухие норы октябрья.
Твердишь: Державин, Данте, Аратва,
а на мостках сидит онатра
и, задержав глубокий выдох,
молчит и спрашивает: Болт?
А ты фонариком поветишь
куда-то вверх — и не ответишь.
Вдохнешь — и ангельскую дрожь
в разбитом сердце унесешь.

* * *

Еще до слова, до начала,
светясь без плоти и огня,
я слышала смерть — она молчала
и проходила сквозь меня.

И ослепительные ночи,
и уютительные дни
казались вечности короче,
но были вечностью они.

Вселенной головокруженье
пытаться остановить,
чтобы молчать после рожденья
и после смерти говорить.

* * *

Это твоя зода
пальчиком проведя —
пеплом неуловимым,
бывшим огнем и дымом, —
по кадыку, виску,
чтобы открыть тоску.

Пепел не взять в шепоть —
Полуистледа палоть,
словно без тьмы и света
выдохлась сигарета:
с неба мизинчик лет —
дерево не прожет.

Скатерть белым-бела:
как ты во мне росла,
глину мою рвала,
как ты меня сожгла —
знает твоя зода.

* * *

Вот-вот пройдет. Как больно. И во мраке
сквозь дым древесный ангелы видны.
Над крыльями. В деревне. И собаки
хватают с неба шарик дуня.

Вот и прошло. Как больно. И во мраке
поземки снежной ветот ковыля,
чтоб женщина рыдала из собаки,
и дерево молчало из земли.

* * *

Взгляд пропаладет где-то —
птицей мелькнет в окне,
полный иного света,
но не вернется, не
вспомнит слезу и веко
красное, и тебя —

серого человека,
плачущего в себя.

* * *

Сначала тень — потом сорока,
и снова снега пустота.
И днится с северо-востока
очей хрустальная верста.

Не отведешь глаза от стужи —
так слезы твердые утри
морозу, спящему снаружи
или палящему внутри.

* * *

С.

Кто ягненка белого поставил на крыльцо?
Ах, у снега первого Господа лицо.
По утрам у Господа детское лицо.
Он ягненка белого поставил на крыльцо.

СОДЕРЖАНИЕ

Погода (1976–1984)	3
«Почуешь новую погоду..»	5
«Задает снег в окно..»	5
«Было тихо и тревожно..»	5
«Из хорошей погоды на поезде еду в пахучую..»	5
«Дождь отряд, дождь отряд..»	6
«В луже корчатся окно..»	6
«Заболело сердце справа..»	6
«От окна холодный воздух..»	6
«Какая беда береза..»	7
«Я вижу воздух. Он тустой..»	7
«Какой ночает — под музыку ведрал..»	7
«Крутом роса от завтрашнего зноя..»	7
«И небо вылетает из костра..»	7
«То скрипнет дверь..»	8
«Река задумана деревней..»	8
«Полжизни бабушка встречала..»	8
«Пришел Ванюша. Снял тулупчик..»	9
«Лето мелькало. Старуха крапивику косила..»	9
Монолог бабушки	9
«Едем с дедушкой по сено..»	10
«Веков тяжкие мгновенья..»	10
«О, лет семнадцать синьбел!»	10
«Скоро печку затоплю..»	10
«Мы жила, ты помнишь, мы жила..»	11
«Ты помнишь этот город не со мной..»	11
«Все позади — судьба и лебеда..»	12
«Тебя никто не обнимает..»	12
Портрет	12
Водопад	13
«На картине — привычное дело..»	13
«Хорошо поговорить, поразговаривать..»	13

«Песни петь, доверяться разлуке...»	14
«Как мало мне губами...»	14
«Как выпал снег, так пишется о снеге...»	14

Пекао и тепло (1984–1987)

«На ветер засмотрюсь, на сад бегущий скопом...»	15
«Я прижалеся к тебе — и земли побеледа...»	17
«Потинешься к столу и в темноте крошечной...»	18
«Припогодились с картошкой — дожди виноваты...»	18
«В этом доме была вчера покойник...»	19
«Приедешь из города — хаёб привезешь...»	20
«Далеко поют. На перевозе...»	20
«Мой лёд не умер потому...»	21
Аравийское море	21
«Я придумал дальною дорою...»	22
Певчая женщина	22
«У дастоочки две родины. Она...»	23
Свидание	23
«Я заешь любви, когда земля качалась...»	23
«Ночью проснусь и заплачу...»	24
«У дереvни мерзнут дети и собаки...»	24
У костра	25
«До свиданья навсегда...»	26
«Не помню, кто ты. Почему...»	26
Ковш	27
Два зеркала	27
Заморозки	28
«На тесной кухне с газовой плитой...»	29
«Лопаты стариков — скрипучие, как весла...»	29
«Внесла дубинное бёлье...»	30
«Стало в доме тесно и темно...»	30
Лось	31
Бражник	32
Апрель	32
Ракшца	33
«Комаров из водос выбидали...»	34

Печаль (1987–1990)

«Не божий промысел — подачка...»	35
«Я ночью пил вино — и медленно светало...»	37
«Какет пшмель золотые подмышки...»	38
«От северной реки да от тоски просторной...»	38
«Тебя не будет никогда...»	39

«Я сниму городское пальто...»	39
«Накопили колоды осеннего сада...»	39
Сон в декабре	40
Поминки	41
Ключка	41
Свеча	42
Залнь	42
Соломенный воук	43
«Осеннего, летнего, зимнего сада...»	43
Трамвайный парк...»	44
«Приближается время творца...»	44
«Куда мне с пожизненным сроком...»	45
Перед сном	45
«По кромке льда. По льду. По водам и по кромке...»	46
«Еще ты жив и одиноч...»	46
Трудно молчать по ночам водосток...»	47
«Откроеся земля, выдающая в аето...»	47
Бабушка	47
«Воскресенье. Выпал снег...»	48
«У дастоочек весной узкоколейки...»	48
«Я чувствую, когда на мушкет...»	49
«Красный истреб, жизнь у нас одна...»	50

После потопа (1991–1994)

Трамвай...»	51
«Трамвай — ледом, кровавый ряд...»	53
«Когда мороз — пророк и по заправкам странник...»	54
Дёвоко	54
«Прохада между строк...»	55
«В том месте, где душа...»	55
«Ночью шлепал босыми ногами...»	56
Красная глина...»	56
«Я шел домой со скоростью расцвета...»	57
«Пасмурный день. Средиземная скука...»	57
«Спад бы — в небе появлялся...»	58
«Бесстыдница оса, как больно и как сладко...»	58
«Где тоакад простраство докоть...»	59
«Зачем ты светилсья в углу...»	59
Спихотворение	60
Лангиади	60
«Спи на Рождественском луку...»	61
Гон	61
«Зима не боьше смерти...»	62

«В поле, заглушем порой перелоя...»	62
«Старше Гретии наши морозы...»	63
«Это жажда, вакушая вниз...»	63
Шмель	63
«Поезд каруселью раскрытия поля...»	64
«Аюбюю, когда первые капли...»	64
«Ваюль сугробов каравайных...»	64
«Ночью ночь светлее в февралье...»	65
«Молодой мороз. Опущка...»	65
«Спасибо, море. За душою...»	66
Бессонница	66
«По шекам, по дощечкам — морозец пешком...»	67
«Все — отраженье, тень, язык...»	67
«Запропадут в оврагах, в балках...»	68
«За листьями — листья...»	68
«Белый антед, зверь небесный...»	69
Улитка	69
«Плотов небесных притяженье...»	70
«Сибирь прилипа к сапоту...»	70
«Авоторонный, сродный...»	71
«Божье око — оком...»	71
«За окошком скрип арбуза...»	72
«Садако землао бьет скотина...»	72
«Кузнецчик. Лесошка...»	73
«На губах черноморская соль...»	73
«С востока савинулась душа...»	74
«Моль, раскрепанная шубка...»	74
«Раскинулась шкура мавевья...»	74
«Сколько спичечка горела...»	75
Тень	75
«Во мне побывали Париж и Москва...»	76
Пятая книга (1991–1996)	77
«Пространство многоочий...»	79
«В небе каплет козе маeko...»	79
«Сухая штопка губ...»	82
«Оконных занавесок...»	82
«Чужого зеркала бросок...»	82
«Тоска без рода и числа...»	83
«Снет полжежит на спине...»	83
«Стрекоза на седьмом этаже...»	84
«У зимы слишком белый платок...»	84
«Ночь. Отсутствие света...»	84

«Сон не в сон. Снорюка...»	84
«Озюбди Божьи ноги...»	85
«Как на глазах ладонь...»	85
«Я писарь твой, Господь...»	86
«А что за пробом? — дести и долти...»	86
«Какое головокруженье...»	86
«Работай, косенюжка...»	87
«Мозоль мороза. Голова...»	87
«И умрешь, и очнешься...»	87
Поле зрения (1995–1997)	89
«Тренье пространства и крови. Зрячка...»	91
«Это хруст каблукка, вывих твердого знака...»	91
«У сосны озюбнет лапка...»	92
«В полночном поле одиноко...»	92
«О, как ты крепко спал...»	92
«Прошай, прошай, абхазский виноград...»	93
Голодь	93
«Не удипа, а спадьные вагоны...»	94
«Мужских очей объятье...»	94
«Чую, шепотом звон, так ресницы растут...»	95
«Еще капель. Не капельница. День...»	95
«Савноно пацалы пушталый каюв...»	96
«Бродяга с бабочкой во рту...»	96
«За протоккой поворот...»	97
«На мотив Иосифа Бродского...»	97
«Словно камешек в кармане...»	98
«Пиджачок улад со студа...»	98
«В невозможной типине...»	99
«В муравейнике что-то шуршит...»	99
«Ты спишь на животе, как небо над тобой...»	99
«Хороша волокита...»	100
Походка языка (1996–1997)	101
«В немереной стране...»	103
«Семь небес, осадок и осада...»	103
«Золотой доской мороза...»	104
«Не простуда, а выпечка губ...»	104
«Одиноко, неказисто...»	105
«Снегопад — продолжение жеста...»	105
«Воздух морозный шершав...»	106
«Снегопад. Сибирь, однако...»	106
«Зимюю небо — меньше дыма...»	107

«Колодец исподлобья как труба...»	107
«Пахнет красными желтый донник...»	109
«Зеркала осколки...»	109
«В замерзшее окошечко, в бельмо...»	110
«Веточек, может быть, сто...»	110
«Пасмурно. В небе какай-то стель...»	110
«Врызнуло с неба, как с венника...»	111
«У бевки под мышкой тепло...»	111
«В саду гулит ведро...»	111
«С утра сосудек улей...»	112
«Что-то запахло рыбацкой...»	112
«Васенет мозоль земли — лопата...»	113
«Ни птицы, ни желтка, ни скорлупы, ни клюва...»	113
«Из любимой глины...»	114
Путем воды (1995–1999)	115
«Покаевка первой капля — с облупком...»	117
«В зимнем воздухе смех и утроза...»	117
«С той ли реки, с перетиба...»	118
«По размеру зрачка — и окно, и чеканка...»	118
«Душка, дачник, разночинец...»	119
«Пересеченье мест...»	119
«Раздуки зимний профиль...»	120
«У столешницы твердые реки...»	120
«Очей самозванство...»	120
«Имя твоё — у меня...»	121
«Тень твою темнее ночи...»	122
«Ни горечи сапоны...»	122
«Зимний день весны пропашей...»	122
«Сквозь двойное стекло лампы настольной, окна...»	123
«Соборование каша, озноб...»	123
«Не спишься, Господи, не спишься...»	124
«Звезды недвижным броском иноходца...»	124
«Заподночь, около двух...»	125
«Ручей промерз до дна и выгнут как посох...»	125
«Кончается сигарета...»	126
«Сава живут во рту...»	126
«Ожома подстаканник...»	126
«Холодное трипье...»	127
«Патина да камыш...»	127
«Мороза и слезы...»	128
«Зимом чувствуетесь пещь...»	129
«Ровно в полночь вольнее свобода...»	129

«Я высмотрел глаза до формулы воды...»	130
«Стрелка секундная в небесах, в виске...»	130

Прощание с Иосифом (1996–2000)

«Лепка округли по снегу зрачком...»	131
«Гладишь светлую землицу...»	133
«Первое слово — последнее слово...»	133
«Хорошо у нечки накать...»	134
«С точки зрения снега наковальня земли...»	134
«С утра просохла стежка...»	134
«На пороге тьмы просторной...»	135
«Когда рыбак идет по стрелке водноруба...»	135
«Простенок зимы, полустанок...»	136
«Так устад, что загнулася об тень от стода. Тяжело...»	136
Прощание с Иосифом...»	137
«Взгляда исекает там, где ты...»	137
«Озеро озирает себя. Бежит...»	138

Побег (1998–2002)

«Томительный свет пустоты...»	139
«Поцелуешь меня. Вертикально...»	141
«Снег не вягель — оформитель...»	142
«Сердце придепит правую...»	142
Памяти Бориса Рыжого...»	143
«Скажи мне что-нибудь такое...»	144
«Укорачивает воду...»	144
«Унесло с балкона майку...»	144
«За тополь в Араной геологрейке...»	145
«Росинка маковая страха...»	145
«Что же, прощай, на высоком ветру...»	145
«Душа — побег, душа — отрада...»	146
«Проведения почвы, да проседа...»	146
«Таблячка в белом небе...»	146
«Не за что зацепиться...»	147
«Без красных кипричей мороз возводит стену...»	147
«За привкус старости во рту...»	148
«Молчит на кухне человек...»	148
«Кухонное окно...»	148
«Что-то стоит за спиной...»	149
«Скелет воды у Фаберже...»	149
«Плягане озьяли...»	149
«Платом бежит собака...»	150
«За спиной, за спиной, за спиной...»	150

«Рот открываю в хоре...»	151
«Сада зимний стосрос...»	151
«Камень выскучет газз...»	151
«Вся в аентах траурных, вся русская оса...»	152
«Скрипючка зачесалась...»	152
«Все, что уже разбилось...»	153
«В роше ремонт, шепчущая обои...»	153
«Смертью растения цветущая вещь...»	154
«Когда не спишь — в углу падыто...»	154

Против стрелки часовой (2000–2005)

«Ты вся как музыка — из макowych...»	155
«Сегодня дасточки и пьесы...»	157
«Скоплены пьесы, пропалаи поды...»	157
«Платком пуховым сквозь колыцо...»	158
«Думать, думать, думать...»	158
«Дампу выкручу-выкручу...»	159
«Я пощачу над фильмом плохим...»	159
«Всю ночь волнистое стекло...»	160
«Не гори, картошечка, напращно...»	160
«Не осень золотая...»	160
«Мени на свете нет...»	161
«Небо свои ремни...»	161
«Сердце слабее. Свет...»	162
«Когда на кухне и без света...»	162
«Мне нужен только свет...»	162
«Говорила с переуту...»	163
«У нас губокая зима...»	163
«Тихо проснешься ночью...»	164
«Сердце сжимается, гибнет звезда...»	164
«Водны фору дают брусчатке...»	164
«Три вороны на север летят...»	164
«Здравствуй, Прощай. Сообщию...»	165
«Выпьешь на дорожку...»	165
«Смерть на продавленном диване...»	166
«Пушкин, Пушкин, опечатка...»	166
«Я ничего у тебя не прошу...»	167
«Отпусти меня, мужа и брата...»	167
«Косноязычные с мороза...»	167
«Вок — в клетке...»	168
«За августовским арапом...»	168
«В деревне ночью дыи видне...»	169
Три стихотворения 90-го года	169

Каменские элетии (2003–2012)

Часть первая	171
«Сердце болит во сне...»	173
«Сава рыба, справа рыба...»	173
«Я леядную пид в дисбате...»	174
«Ворохнется в окне ветка...»	174
«За листопадом, за...»	175
«Неба все больше, мало...»	175
«На читку воздуха сава ди...»	176
«В пенеальнице окурюк...»	176
«Отвернувшись к стене...»	176
«По волчьим следам, по сугробам...»	177
«Капид разавинет воздух...»	177
«Кровь коротка...»	178
«В пустоте, по дороге домой...»	178
«Мы с тобою умрем от жизни...»	179
«Ты поняла все в послесонный миг...»	179
«Газам хватает неба и земли...»	180
«Утки летят на восток...»	180
«Дурячок, дурячок...»	180
«Сухая гроза — что в завязке алкаш...»	181
«Птицы — в прощаное, в аето, на ног...»	181
«Стук из подземки посоха...»	182
«Какая мгла, какая негя...»	182
«Деревня дымом в смерть захвала...»	183
«О, Господи, не умирай...»	183
«Иди, не бойся темноты...»	183
«После седьмого ноября...»	184
«Чтобы вырезать дуаку из ветки в аесу...»	184
«Уже зима вбивает в землю гвозди...»	184
«И, усомнившись в тишине...»	185
«На этом свете, за окном...»	185
«В покойной позе “Бобик саох”...»	185
«Взгляд остановлен птицей...»	186
«Сорока на столбе...»	187
«Капелька крови...»	188
«У кутницы...»	188
«Душа — Сибирь. Душа — погода...»	189
«От счастья содрогнешься...»	189
«Деревня пустила...»	189
«Проснешься ночью — света нет...»	189
«Зверушки, зверушки, лошадки...»	190

«Воздух болят. Суха..».....	190
«Почти отлучившись, отлучив..»	191
«Наместники оконных рам..»	191
«Земное приращение с ума..»	191
«Перемолчишь молчанье боли..»	192
«Это место никакое..»	192
«Краснее жизни хлынувший мороз..»	193
«Костерок. Полянка. В полдипровке..»	193
«Ты легко поднимешь руку..»	193
«Взлетает птица тверже птицы..»	194
«Собака плавает в пруду..»	194
«Подуешь в зеркало — волна..»	195
«Поговоришь с водой..»	195
«Режет глаза в окошке..»	195
«Я старый. Мне себя не жавко..»	196
«Как дошло лошади шьет из лужи..»	196
«Ваши пальцы пахнут рыбкой..»	197
«Пахнут олята ядом..»	197
«Уши, особенно мочки..»	197
«Трава сказала — умираю..»	198
«Чужое небо, занавески..»	198
«А смерть осинной..»	198
«И во сне я ваюль неба хожу..»	199
«В воду врастают ноги..»	199
«Волынки пауч овцы. Грамматика Авойная..»	200
«Поляны. Татарник. Мысливший тростник..»	200
«Все больше интонации, тумана..»	201
«Шепотом дождь поет. Значит вот-вот зурна..»	201
«Снег в форме машины едет издалека..»	201
«Кто-то умер — ты чувствуешь это..»	202
«Ты откуда, сигаретный..»	202
«Поздняя осень. В пейзаже..»	202
«Господи, в глазах твоих стрекозы..»	202
«Слышно, как дерево топнудло..»	203
«Ушираюсь абом в звезду..»	203
«Ты знаешь ли изначальноно..»	203
«Снег под ногою. Скрипитет..»	203
«Ангелы летче снега..»	204
«Спадо. Просыпаюсь. Не спадо..»	204
«Путовицу смахнуло..»	205
«Усвишишь ли из первых уст..»	205
«У куклочки всего одно слово..»	205
«Что наши мысли? — бред природы..»	206

«Воробы сквавами пайку..»	206
«От неба и огня, и от воды губокой..»	207
Часть вторая	208
«Сколько времени там на весе..»	208
«Пахнет ладонь сосной..»	209
Нижнеистетское..»	209
«Кто-то в печной трубе..»	210
«Меж безнами двумя..»	210
«Хочешь свою страну..»	210
«Кто-то спросил: — Ну, как?..»	211
«Пойти проведать непогоду..»	211
«Юным и сумасшедшим..»	211
«Меркнут недолипе птичьи следы..»	212
«Пережди меня..»	212
«Дождик чует наготу..»	213
«Пахнет коза, поднимаясь в горку..»	213
«Ходит музыка по коже..»	213
«Прости меня и отпусти..»	214
«В окне — снегопад: прохуудилси карман..»	214
«Эта собака не для еды..»	214
«Позооченная стружка..»	215
«Эти пальцы, веки эти..»	215
«Медленно, медленно ваза..»	215
«В русских расхляпчатых прозах..»	216
«Намашусь лопатого — и спад..»	216
«Что-то еще я хотел.. Никак..»	216
«Зима в деревне холодне..»	217
«Мороз проницаем и розов..»	217
«В морозы горький свет: в деревне пахнет дымом..»	218
«Как саадо мне спадось, как мало..»	219
«Погладила печь — спадает жар..»	219
Елене (из пикал)	220
«В полусезах, в полубреду..»	222
Часть третья	223
«Я знаю эту дорожку..»	223
«Где-то глаза кочуют..»	223
«Бог иногда почувет в яблке Червячком..»	224
«Имя мое у меня отняла..»	224
«Где очень больно, там светло..»	225
«В банке кофейной четыре окурка..»	225
«В стену горох, в стену горох..»	225

«Сгукнет с небес дубинка...»	226
«Сад напросился в дом...»	226
«Я думал воздухом и пищей...»	226
«Голос теряет слово...»	227
«К вечеру, пустившему слюну...»	227
«Душу спасет беда...»	228
«Всюду Господа белые брови...»	228
«Ходит шагун-трава...»	228
«Дерево отовариву...»	229
«Падает кулик, падает кулик...»	229
«Пока мой лещ, саезу глотая, окад...»	229
«Куличок, куличок, куличок...»	230
«Откуда такие ребятики...»	230
«К изголовью, к изголовью...»	231
«Птичка серая скажет мне...»	231
«Рябина, помоги...»	231
«Трисогузка. Серебряный хвост...»	232
«Выидешь с утра — однако...»	232
«Браженны плачущие, то есть...»	233
«Параплет с неба прозвяд...»	233
«С рябиной позороваться. Умыться...»	233
«Так пасмурно, что негу небосклона...»	234
«Но снега первого зверек...»	234
«И вспомнила я: ты здесь была...»	234
«Имя нашло предмет...»	235
«Нежнее инея в зверином ухе...»	235
«Маленький человек...»	235
«Буду водой стоять...»	236
«Говоришь на темном и вензном...»	236
«Ты в воду посмотришь — потом из воды...»	236
«Живой и мертвый, с вечностью во рту...»	237
«Синичка села на пачечу...»	237
«Под крышкой пусто. Нет, под нею...»	237
«О, сколько памяти в пропалке...»	238
«Есть нитка золотая, есть игла...»	238
«Хорошо ты сидишь у окна...»	238
«Стать золотым и нелюбимым...»	239
«Понемногу светает. Туман...»	239
«Твой бывший ангел у окна...»	239
«Крикнуть себе вослед...»	240
Новые заглагии	241
«Рыбы пекутот изнанку...»	241

«Мед золотой листья выпит наполювину...»	241
«Не с горя, нет, не с перепуту...»	242
«Кто мне веки горякие поднимет...»	243
«Словно бабочка шире окна...»	243
«Кто-то вскрикнул: "Баба Настя!"...»	243
«То пимель пинается. То муха...»	244
«Сивый, большой, податый...»	244
«Прошла гроза, хороша гроза...»	244
«Чертополоху-чуду...»	245
«На расстойные вытннутой — здесь...»	245
«Перышко чье-то прилипло к поругу...»	245
«Когда с фонариком рыбачить...»	246
«Еще до слова, до начала...»	246
«Это твои зомы...»	247
«Вот-вот проидет. Как больно. И во мраке...»	247
«Взгляда пропалает где-то...»	247
«Сначала тень — потом сорока...»	248
«Кто ягненка белого поставил на крыльцо?...»	248

Литературно-художественное
издание

Казарин Юрий Викторович

СТИХОТВОРЕНИЯ
1976–2012

Корректор

Компьютерная верстка *Л. А. Хухряева*

Ответственный за выпуск *М. В. Дворова*

Подписано в печать __. __. 2013. Формат 60 × 84 1/16.

Парнитура Satamond. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Ус. печ. л. __. Тираж __ экз. Заказ

Издательство «Кабинетный ученый»

Россия, 620014, г. Екатеринбург, а/я 489

Postal address: Amnhaif Scientist

Russia, 620014, Ekaterinburg, P.O.Box 489

Тел. в Екатеринбург: +7 (904) 5461725

Тел. в Москве: +7 (916) 2248119

E-mail: fec1913@gmail.com (Ф. А. Бремсен)

Тел. в Москве: +7 (926) 5200481

E-mail: editor@amnhaif-scientist.ru